

Лев Николаевич

Толстой

Смерть Ивана Ильича

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва – 1936

Электронное издание осуществлено

компаниями ABBYY и WEXLER

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей–усадьба «Ясная Поляна»

Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 26–го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 26-му тому

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать

в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYU, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYU FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно

Reproduction libre pour tous les pays.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

1887 г.

Портрет работы И. Е. Репина.

СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА.

I.

В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные Ведомости.

– Господа! – сказал он, – Иван Ильич–то умер.

– Неужели?

– Вот, читайте, – сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.

В черном ободке было напечатано: «Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4–го февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в 1 час пополудни».

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева – или Винников, или Штабель. Так что, услышав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

«Теперь наверно получу место Штабеля или Винникова, – подумал Федор Васильевич. – Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня 800 руб. прибавки, кроме канцелярии».

«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, – подумал Петр Иванович. – Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных».

– Я так и думал, что ему не подняться, – вслух сказал Петр Иванович.
– Жалко.

– Да что у него собственно было?

– Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

– А я так и не был у него с самых праздников. Всё собирался.

– Что, у него было состояние?

– Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

– Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

– То есть от вас далеко. От вас всё далеко.

– Вот не может мне простить, что я живу за рекой, – улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.

«Каково, умер; а я вот нет», подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соблезнования.

Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.

Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя

обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней, у вешалки прислонена была к стене газетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна сестра Ивана Ильича, знакомая, другая незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами».

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.

Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял зачем; он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. На счет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шопотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключаящим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович всё крестился и слегка кланялся по срединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительным, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменялся, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее,

главное – значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано; и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, т. е. что ничто не может помешать нынче же вечером щелкнуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шопотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, всё-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала: «Сейчас будет панихида; пройдите».

Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала: «Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича...» и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «поверьте!» И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

– Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, – сказала вдова. – Дайте мне руку.

Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу.

«Вот-те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь», сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф,

Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретеоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещей и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавший под ним пуф. Но вдова не всё отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда всё это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище, то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить 200 руб. Она перестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выразивший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.

– Курите, пожалуйста, – сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

– Я всё сама делаю, – сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: – Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить... а развлечь, то это заботы о нем же. – Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно.

– Однако у меня дело есть к вам.

Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.

– В последние дни он ужасно страдал.

– Очень страдал? – спросил Петр Иванович.

– Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голоса, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!

– И неужели он был в памяти? – спросил Петр Иванович.

– Да, – прошептала она, – до последней минуты. Он простился с нами за 1/4 часа до смерти и еще просил увести Володю.

Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала

веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидел опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.

«Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичем, а не с ним, и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.

После разных разговоров о подробностях действительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичем (подробности эти узнавал Петр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.

– Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело, – и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал: «Поверьте...», и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсионе; но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: всё то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скардность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю.

В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикабраке, Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидел знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее, очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых

мальчиков в 13–14 лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида, – свечи, стоны, ладон, слезы, всхлипыванья. Петр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее.

– Что, брат, Герасим? – сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. – Жалко?

– Божья воля. Все там же будем, – сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, посадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать.

Петру Ивановичу особенно приятно было дохнуть чистым воздухом после запаха ладона, трупа и карболовой кислоты.

– Куда прикажете? – спросил кучер.

– Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу.

И Петр Иванович поехал. И действительно застал их при конце 1-го робера, так что ему удобно было вступить пятым.

II.

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.

Иван Ильич умер 45-ти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором, хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они всё-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи от 6-ти до 10-ти, с которыми они и доживают до глубокой старости.

Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.

У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта

инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был *le phenix de la famille*, [1] как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними – умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из 5-го класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал всё то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усвоивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности, и тщеславию, и – под конец в высших классах – либеральности, но всё в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчился воспоминаниями о них.

Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: *respice finem*, [2] простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и, вместе с тем, приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и *bon enfant*, [3] как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.

Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведа; была и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но всё это носило на себе такой высокий тон порядочности, что всё это не могло быть называемо дурными словами: всё это подходило только под рубрику французского изречения: *il faut que jeunesse se passe*. [4] Всё происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.

И Иван Ильич стал этим новым человеком.

Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии, и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же *comme il faut*'ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в Шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди – все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года.

Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич

сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной.

Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям, и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, отчего же и не жениться?» сказал он себе.

Девушка Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она – милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.

И Иван Ильич женился.

Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван

Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться.

Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, *de gaité de coeur*, [5] как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде – он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить попрежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, т. е. не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь – по крайней мере с его женою – не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.

С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна.

По мере того, как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич всё более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того, чтобы исполнять свой долг, т. е. вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение, как и к службе.

И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный выгороженный им мир службы и в нем находил

приятность.

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, – всё это еще более привлекало его к службе.

Пошли дети. Жена становилась всё ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичем отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости.

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича.

Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы всё больше и больше освободить себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он всё меньше и меньше проводил время с семьей, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведения дел, которое он чувствовал, – всё это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично.

Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже 16 лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик–гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Федоровна на зло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.

III.

Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение 17 лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.

Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья нехватает на жизнь; с другой – что все его забыли, и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, – он один знал, что его положение далеко не нормально.

Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны.

В деревне, без службы, Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.

Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать и, чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.

На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.

Он ехал за одним: выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможи, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.

И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в 1-й класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на-днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича.

Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу.

В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции.

Через неделю он телеграфировал жене:

Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение.

Иван Ильич, благодаря этой перемене лиц, неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих и на всё министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.

Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге.

Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой приятности и приличия.

Иван Ильич приехал на короткое время. 10-го сентября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти всё из провинции, прикупить, приказать еще многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны.

И теперь, когда всё устроилось так удачно и когда они сходились с женою в цели и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.

Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, всё время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына, — всё как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за

устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный коммодный стиль, обивку, и всё росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожидание. Он понял тот коммодный, изящный и не пошлый характер, который примет всё, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще неоконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял всё хуже, чем есть, чтобы поразить их. Всё это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но как сильный и ловкий человек удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя всё это время особенно веселым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет 15. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно, — не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.

В сущности же было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее, — всё то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему всё это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, — он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал? он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.

— Я не даром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк.

И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, не доставало только одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко — каких-нибудь 500 руб. — не доставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не всё было устроено и надо было еще устраивать; то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны и так много было дела, что всё кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и

чего-то не доставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.

Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный шнурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в 9, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания – публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать всё то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич как человек недолжностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, – в пределах этих отношений Иван Ильич делает всё, всё решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой, и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Всё было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, т. е. читал бумаги, справлялся с законами, – слышал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт; но если не было винта, – то это было всё-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиная его была похожа на все гостиные.

Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и всё было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять всё у дорогого кондитера, и взял много

тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в 45 руб. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: «дурак, кисляй». А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгиней Труфоновой, сестрой той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе». Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, – это сестра с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой – неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.

Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди и молодые люди.

Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизанькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Федоровной: не свести ли их кататься на тройках, или устроить спектакль. Так они жили. И всё шло так, не изменяясь, и всё было очень хорошо.

IV.

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.

Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.

И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастье ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение.

После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.

Он поехал. Всё было, как он ожидал; всё было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукиванье, и выслушиванье, и вопросы, требующие определенные вперед и очевидно ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы всё устроим, – у нас известно и несомненно, как всё устроить, всё одним манером для всякого человека, какого хотите. Всё было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение, или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей – блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Всё это было точь в точь то же, что делал тысячу

раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествуя, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем всё равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:

– Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы, – сказал он. – Вообще, это опасная болезнь, или нет?..

Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы заседания.

– Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, – сказал доктор. – Дальнейшее покажет исследование. – И доктор поклонился.

Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он, не переставая, перебирал всё, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо – очень ли плохо мне, или еще ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Всё грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не переставая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное, значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней.

Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.

– Ну, я очень рада, – сказала жена; – так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку. – И она пошла одеваться.

Он не переводил дыханья, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.

– Ну что ж, – сказал он. – Может быть, и точно ничего еще...

Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-

нибудь.

Но Иван Ильич всё-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время.

Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принятия лекарств и прислушивание к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.

Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастье или неприятность... И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь, и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим, — разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.

В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля — доктор очень хороший — тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнение. Гомеопат — еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечением и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел?» сказал он себе. «Пустяки! Всё вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до

лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!..» Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку всё томила, всё как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился всё страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы всё слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что всё на свете идет попрежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние – главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха; но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от него, что он говорил и делал. Отношение это было такое: «Вы знаете, – говорила она знакомым, – Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и во-время ляжет; завтра вдруг, если я посмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа».

«– Ну, когда же? – скажет Иван Ильич с досадою, – один раз у Петра Ивановича.

– А вчера с Шебеком.

– Всё равно, я не мог спать от боли...

– Да там уж от чего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас».

Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич, и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было.

В суде Иван Ильич замечал, или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.

Приходили друзья составить партию, сиделись. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их 7. Партнер сказал: без козырей и поддержал 2 бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть – шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему.

Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку», думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех, и что ужаснее всего – это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему всё равно. И ужасно думать, отчего ему всё равно.

Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». – Отдохнуть? Нет, он несколько не устал, они доигрывают робер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других, и что отравка эта не ослабевает, а всё больше и больше проникает всё существо его.

И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А на утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю гибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

V.

Так шло месяц и два. Перед новым годом приехал в их город его шурина и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд всё открыл Ивану Ильичу. Шурина раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило всё.

– Что переменился?

– Да... есть перемена.

И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурина отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, шурина пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало – прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на отоманку и стал чернее ночи.

«Не надо, не надо», сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать.

– Нет, ты преувеличиваешь, – говорила Прасковья Федоровна.

– Как преувеличиваю? Тебе не видно – он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?

– Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив...

Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать: «почка, блуждающая почка». Он вспомнил всё то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее; так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». (Это был тот приятель, у которого был приятель-доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать.

– Куда ты, Jean? – спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.

Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее.

– Мне надо к Петру Ивановичу.

Он поехал к приятелю, у которого был приятель-доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.

Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он всё понял.

Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Всё это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и всё поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В 11 часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалась правильная деятельность. «Да, это всё так, – сказал он себе. – Только надо помогать природе».

Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. – «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал щупать бок, – наощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок... Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, Боже мой! – проговорил он. – Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка! Почка», – сказал он себе. – «Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней – сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, – уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. «Зачем? Всё равно, – говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. – Смерть. Да, смерть. И они никто не знают и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ритурнели.) Им всё равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.

«Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать всё сначала». И вот он начал обдумывать. «Да, начало болезни. Стукнулся боком, и всё такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я всё шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. – Неужели смерть?» Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она метала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.

Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услышала падение и вошла.

– Что ты?

– Ничего. Уронил нечаянно.

Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее.

– Что ты, Jean?

– Ниче...го. У...ро...нил. «Что же говорить. Она не поймет», думал он.

Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.

Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.

– Что тебе, или хуже?

– Да.

Она покачала головой, посидела.

– Знаешь, Jean, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом?

Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: нет. Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.

Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее.

– Прощай. Бог даст, заснешь.

– Да.

VI.

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай – человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай–человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог

вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, – мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

«Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос; но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья – мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! – говорил он себе. – Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это? »

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но – странное дело – всё то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: «займусь службой, ведь я жил же ею». И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке, рассеянno, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «неужели только она правда?» И товарищи и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от нее. И что было хуже всего – это то, что она отвлекала его к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не. столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через всё, и ничто не могло заслонить ее.

Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, – в ту гостиную, где он упал, для которой он – как ему ядовито смешно было думать, – для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, – он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей, – то разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.

Потом ему приходила мысль весь этот *établissement* с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но всё было хорошо, потому что он не помнил о ней, ее не видно было.

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред», и вдруг она мелькнула через ширмы, он увидел ее. Она мелькнула, он еще надеется, что она скроется, но невольно он прислушался к боку, – там сидит всё то же, всё так же ноет, и он уже не может забыть, и она явственно глядит на него из-за цветов. К чему всё?

«И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть».

Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть.

VII.

Как это сделалось на 3-м месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам – знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.

Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль.

Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти всё были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.

Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.

Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.

Герасим был чистый свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.

Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.

Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубашке, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича, – очевидно сдерживая, чтоб не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, – подошел к судну.

– Герасим, – слабо сказал Иван Ильич.

Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой.

– Что изволите?

– Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

– Помилуйте–с. – И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. – Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное.

И он ловкими сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.

Иван Ильич всё так же сидел на кресле.

– Герасим, – сказал он, когда тот поставил чистое обмытое судно, – пожалуйста, помоги мне, поди сюда. – Герасим подошел. – Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я услал.

Герасим подошел; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти

неся, к дивану и посадил.

– Спасибо. Как ты ловко, хорошо... всё делаешь.

Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать.

– Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше.

Герасим принес стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.

– Мне лучше, когда ноги у меня выше, – сказал Иван Ильич. – Подложи мне вон ту подушку.

Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже.

– Герасим, – сказал он ему, – ты теперь занят?

– Никак нет-с, – сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.

– Тебе что делать надо еще?

– Да мне что ж делать? Всё переделал, только дров наколоть на завтра.

– Так поддержи мне так ноги повыше, можешь?

– Отчего же, можно. – Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.

– А дрова-то как же?

– Не извольте беспокоиться. Мы успеем.

Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И – странное дело – ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.

С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.

Главное мучение Ивана Ильича была ложь, – та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо

только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И – странно – он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (в роде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, выплусь еще; или когда он вдруг, переходя на ты, прибавлял: кабы ты не больной, а то отчего же не послужить? Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

– Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? – сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд.

Кроме этой лжи, или вследствие ее мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, – хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода, и что потому это невозможно; но ему всё-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и вместо того, чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.

VIII.

Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было – всё было всё равно, всё было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно всё уходящей, но всё не ушедшей еще жизни; надвигающаяся всё та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и всё та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?

– Не прикажете ли чаю?

«Ему нужен порядок, чтоб по утрам господу пили чай», подумал он и сказал только:

– Нет.

– Не угодно ли перейти на диван?

«Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я – нечистота, беспорядок», подумал он и сказал только:

– Нет, оставь меня.

Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо.

– Что прикажете?

– Часы.

Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.

– Половина девятого. Там не встали?

– Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?

– Нет, не надо. – «Не попробовать ли чаю? » – подумал он. – Да, чаю... принеси.

Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его? Да, лекарство». – Петр, подай мне лекарство. – «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Всё это вздор, обман», решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. «Нет, уж не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем, хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Петр вернулся. – Нет, иди. Принеси чаю.

Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли,

как она ни была ужасна, сколько от тоски. «Всё то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Всё лучше смерти! »

Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся.

– Да, – сказал он, – чай... хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.

И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало, особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.

Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось всё. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра.

Всё то же. То капля надежды блеснет, то взбушует море отчаяния, и всё боль, всё боль, всё тоска и всё одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. «Хоть бы опять морфин – забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так».

Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось, доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением – что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам всё устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

– Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь, – говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж всё исправит.

– Ну, что, как?

Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: – как вы провели ночь?

Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?» Но доктор не хочет понимать вопрос.

И Иван Ильич говорит:

– Всё так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!

– Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте. – И доктор пожимает руку.

И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукиванья, прослушиванья.

Иван Ильич знает твердо и несомненно, что всё это вздор и пустой обман, но, когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут.

Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны, и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор.

Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни всё то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему – то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, – и не могла уже снять этого отношения к нему.

– Да ведь вот он не слушается! Не принимает во-время. А главное – ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему – ноги кверху.

Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.

Доктор улыбнулся презрительно-ласково: «Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить». Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.

– Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю, – сказала она иронически, давая чувствовать, что она всё делает для него и только этим не дает ему права отказаться ей. Он молчал и морщился. Он

чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.

Она всё над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.

Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушиванья и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.

Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли. возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.

Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, стклянки и то же свое болящее страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали впрыскивание, и он забылся.

Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать. Он поел с усилением бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.

После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.

Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь, и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора.

– Да, и Федор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.

– Пускай войдут.

Вошла дочь, разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой à la Carouf с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.

Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.

Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал: Нет; а вы уж видели?

– Да, в Adrienne Lecouvreur.

Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры, – тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами перед собою, очевидно негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчанье. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась.

– Однако, если ехать, то пора, – сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем.

Все встали, простились и уехали.

Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было, – она ушла с ними, но боль осталась. Всё та же боль, всё тот же страх делали то, что ничто не тяжеле, ничто не легче. Всё хуже.

Опять пошли минута за минутой, час за часом, всё то же, и всё нет конца, и всё страшнее неизбежный конец.

– Да, пошлите Герасима, – ответил он на вопрос Петра.

IX.

Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услышал ее: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела уснуть Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал: – Нет. Иди.

– Ты очень страдаешь?

– Всё равно.

– Прими опиума.

Он согласился и выпил. Она ушла.

Часов до трех он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и всё дальше просовывают и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Всё тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром и та же непрекращающаяся боль.

– Уйди, Герасим, – прошептал он.

– Ничего, посижу-с.

– Нет, уйди.

Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога.

«Зачем Ты всё это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..»

Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал Тебе, за что?»

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.

– Чего тебе нужно? – было первое ясное, могущее быть выражено

словами понятие, которое он услышал. – Что тебе нужно? Чего тебе нужно? – повторил он себе. – Чего? – Не страдать. Жить, – ответил он.

И опять он весь предался вниманию, такому напряженному, что даже боль не развлекала его.

– Жить? Как жить? – спросил голос души.

– Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

– Как ты жил прежде, хорошо и приятно? – спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но – странное дело – все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все – кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминания о любви к женщине. Потом всё это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего и что дальше, то меньше.

Женитьба... так нечаянно и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать – и всё то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать и умирать страдая? Что-нибудь не так.

«Может быть, я жил не так как должно?» приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал всё, как следует?» говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти как что-то совершенно невозможное.

Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «суд идет!..» Суд идет, идет суд, повторил он себе. Вот он суд! «Да я же не виноват! – вскрикнул он с злобой. – За что? » И он перестал плакать и, повернувшись лицом

к стене, стал думать всё об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что всё это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

Х.

Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти всё время лицом к стене, он одиноко страдал всё те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал всё ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.

Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке, и тем реальнее сознание наступающей смерти, Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору, – чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, – одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, – в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. «Не надо об этом... слишком больно», говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна. «Сафьян

дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки». И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний – о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. «Как мучения всё идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла всё хуже и хуже», думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом всё чернее и чернее и всё быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти», подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу...» Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, – ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя», – говорил он себе. – «Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать», говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то допустить уж невозможно», говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. «Нет объяснения! Мучение, смерть... Зачем?»

XI.

Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичем свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.

Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде.

– Ради Христа, дай мне умереть спокойно, – сказал он.

Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.

– В чем же мы виноваты? – сказала Лиза матери. – Точно мы это сделали! Мне жалко папа, но за что же нас мучить?

В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: «да, нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал:

– Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте.

– Облегчить страдания можем, – сказал доктор.

– И того не можете; оставьте.

Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо, и что одно средство – опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.

Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное, скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что как и в самом деле вся моя жизнь сознательная жизнь, была «не то».

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, – что они-то и могли быть настоящие, а остальное всё могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы, – всё это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой всё это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.

«А если это так, – сказал он себе, – и я уйду из жизни с сознанием того, что погубил всё, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидел утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, – каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, всё то, чем он жил, и ясно видел, что всё это было не то, всё это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятило его физические страдания. Он стонал и метался и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.

Жена пришла к нему и сказала:

– Jean, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто...

Он открыл широко глаза.

– Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем...

Она заплакала.

– Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.

– Прекрасно, очень хорошо, – проговорил он.

Когда пришел священник и исповедывал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах.

Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. Жить, жить хочу, говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:

– Не правда ли, тебе лучше?

Он, не глядя на нее, проговорил: да.

Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса – всё сказало ему одно: «не то. Всё то, чем ты жил и живешь, – есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой гибели. Что-то сделалось новое: стало винтить и стрелять и сдавливать дыхание.

Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:

– Уйдите, уйдите, оставьте меня!

XII.

С этой минуты начался тот, три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что

возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.

– У! Уу! У! – кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «не хочу!» и так продолжал кричать на букву «у». Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это–то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его.

Вдруг какая–то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что–то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

«Да, всё было не то, – сказал он себе, – но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»? спросил он себя и вдруг затих.

Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умиравший всё кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто–то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

«Да, я мучаю их, – подумал он. – Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

– Уведи... жалко... и тебя... – Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя. – Ее куда? Ну–ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!

Для него всё это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услышал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше».

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вдоха, потянулся и умер.

25 марта 1886 г.

—

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ

* [ВАРИАНТЫ К «СМЕРТИ ИВАНА ИЛЬИЧА».]

* № 1.

Я узналъ о смерти Ивана Ильича въ судѣ. [6] Въ перерывѣ засѣданія по скучнѣйшему дѣлу Мальвинскихъ мы сошлись въ кабинетъ Ивана Егоровича Шебекъ. Нашъ товарищъ открылъ газету и перебилъ нашъ разговоръ.

– Господа: Иванъ Ильичъ умеръ. [7]

– Неужели?

– Вотъ читайте.

И я прочель: Прасковья Федоровна Головина съ душевнымъ прискорбьемъ извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ, что 4-го Февраля скончался ея мужъ членъ Московской судебной Палаты Иванъ Ильичъ [8] Головинъ. Выносъ тѣла <будеть>.... и т. д.

[9] Иванъ Ильичъ былъ нашъ товарищъ и хорошій знакомый. [10] Онъ давно болѣлъ [11] и было соображеніе о томъ, что Винниковъ, вѣроятно, займетъ его мѣсто. Алексѣевъ на мѣсто Винникова, и я могу получить мѣсто Алексѣева, что составитъ для меня 800 р. прибавки кромѣ канцеляріи.

– Такъ умеръ. А я такъ и не былъ у него съ пріѣзда. Все собирался.

– Что было у него состояніе?

– Кажется, ничего. Жалко. Надо будетъ заѣхать. Они гдѣ жили?

– На Прѣснѣ домъ Бѣловой – знаете, какъ, проѣдете мостъ.....

И мы поговорили еще кое о чемъ и пошли въ засѣданіе. Какъ всегда бываетъ при извѣстіи о смерти знакомаго, я подумалъ столько: Каково: умеръ таки; а я вотъ нѣтъ. [12] Скучны эти визиты соболѣзнованія, а надо заѣхать.

Вечеромъ я заѣхалъ. Я вошелъ съ [13] тѣмъ обыкновеннымъ чувствомъ превосходства, свойственнымъ живымъ передъ мертвыми. Внизу, гдѣ послѣдній разъ мы расходились послѣ винта, въ которомъ я назначилъ шлемъ безъ двухъ, у вѣшалки стояла крышка гроба съ вычищеннымъ новенькимъ галуномъ. Двѣ дамы въ черномъ сходили съ лѣстницы. Одна – его сестра. Товарищъ [14] нашъ Шебекъ съ англійскими бакенбардами, во фракѣ, на верхней ступени узналъ меня и кивнулъ черезъ дамъ, подмигивая, какъ бы говоря: какъ глупо. То ли дѣло мы съ вами. [15] Я вошелъ, пропустивъ дамъ, пожалъ руку [16] Шебеку, и онъ вернулся, я зналъ, затѣмъ, чтобы сговориться, гдѣ повинтить нынче. Я [17] вошелъ въ комнату мертвеца, какъ обыкновенно, съ недоумѣніемъ о томъ, что собственно надо дѣлать. Одно я знаю, что креститься въ этихъ случаяхъ никогда не мѣшаетъ. [18] Я крестился и кланялся и вмѣстѣ оглядывалъ комнату. Молодые два человѣка, кажется, племянники, выходили, [19] потомъ старушка молилась, дьячекъ городской бодрый, рѣшительный, читалъ съ выраженьемъ, исключаящимъ всякое противорѣчіе, буфетный мужикъ Герасимъ [20] что то посыпалъ по полу. [21] Въ послѣднее посѣщеніе мое Ивана Ильича я засталъ этого мужика въ кабинетѣ, онъ исполнялъ должность сидѣлки, [22] и стоялъ гробъ. Я

все крестился и слегка кланялся[23] по срединному направлєнію между гробомъ, дьячкомъ и образами. Потомъ, когда это движеніе крещенія рукою показалось мнѣ уже слишкомъ продолжительно, я прїостановился и сталъ разглядывать мертвеца. Онъ лежалъ, какъ всегда, особенно утонувши въ гробу – и въ глаза бросались восковой лобъ, вострый носъ немного на бокъ и руки, желтыя его руки, слабыя, [24] съ отогнутыми кверху послѣдними суставами пальцевъ. Онъ очень перемѣнился, но, какъ всѣ мертвецы, былъ очень хорошъ и серьезень. Серьезность эта мнѣ показалась неумѣстной. [25] Я посмотрѣлъ и только что почувствовалъ, что зрѣлище это притягиваетъ меня, я быстро повернулся и пошелъ прочь къ[26] Шебеку, ждавшему меня у притолки. Я зналъ, что онъ молодець, и если мнѣ какъ то неловко было бы сѣсть нынче за винтъ, онъ не посмотритъ на это и весело щелкнетъ распечатанной[27] колодой въ то время, какъ лакей будетъ раставлять 4 необожженныя свѣчи. Но видно, не судьба была винтить нынче вечеромъ. Прасковья Ѳедоровна, толстая, желтая, вся въ черномъ, съ совершеннымъ видомъ вдовы (мнѣ поразило, глядя на нее, какъ однообразенъ видъ вдовъ, – сколько я видаль точно такихъ), подошла ко мнѣ, вздохнула взяла меня за руку.

– Я знаю, что вы были истиннымъ другомъ....

Какъ тамъ надо было креститься, здѣсь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «повѣрьте».... Я такъ и сдѣлалъ и почувствовалъ, что я тронуть и она тронута.

– Пойдемте, дайте мнѣ руку, – сказала она. – Мнѣ нужно поговорить съ вами.

Я подаль руку, и мы направились во внутреннія комнаты мимо[28] Шебека, который печально подмигнулъ мнѣ. [29] «Вотъ те и винтъ! Ужь не взыщите, другаго партнера возьмемъ. Нечто впятеромъ, когда отдѣлаетесь». Я вздохнулъ еще глубже и печальнѣе, и Прасковья Ѳедоровна благодарно пожала мнѣ руку.

Мы сѣли въ обитую розовымъ кретономъ ея комнату. (Я помню какъ онъ устраивалъ эту комнату и совѣтовался со мной о кретонѣ). – Она начала плакать. И можетъ быть долго не перестала бы еслибы не пришелъ Соколовъ, ихъ буфетчикъ, съ докладомъ[30] о томъ, что мѣсто[31] то, которое назначила Прасковья Ѳедоровна, будетъ стоить 200 р. – Она перестала плакать съ видомъ жертвы взглянула на меня, сказала по французски, что это ей очень тяжело, но занялась съ Соколовымъ и даже я слышалъ, что очень внимательно распорядилась о пѣвчихъ. – Я все сама дѣлаю сказала она мнѣ. Я нахожу притворствомъ увѣренія, что не могу. Всегда можно. И меня сколько можетъ развлекать – дѣлать для него же. – Она опять достала платокъ. И вдругъ какъ бы встрехнулась. – Однако у меня дѣло есть къ вамъ: Въ послѣдніе дни, онъ ужасно страдалъ. [32]

– Страдалъ?

– Ахъ, ужасно. Послѣднія не минуты, а часы. Онъ не переставая кричалъ 18 часовъ.[33] За тремя дверьми слышно было.

– Ахъ, что я вынесла.

– Неужели?

– 18 часовъ корчился и кричалъ не переставая. – Я вздохнулъ, и тяжело. Мнѣ пришло въ голову: что какъ и я также буду 18 часовъ, но тотчасъ же я понялъ, что это глупо. Иванъ Ильичъ умеръ и кричалъ 18 часовъ, это такъ, но я это другое дѣло. Таково было мое разсужденіе, если вспомнить хорошенько; и я успокоился и съ интересомъ сталъ спрашивать подробности о кончинѣ Ивана Ильича, какъ будто смерть[34] было такое приключеніе, которое совсѣмъ не свойственно мнѣ.

Я особенно подробно описываю мое отношеніе къ смерти тогда[35] потому, что именно тутъ въ этомъ кабинетѣ съ розовымъ кретономъ, я получилъ то, что измѣнило совсѣмъ мой взглядъ на смерть и на жизнь.

Я получилъ именно отъ Прасковьи Ѳедоровны записки ея мужа, веденныя имъ во время послѣднихъ 2-хъ мѣсяцовъ его смертной болѣзни. Послѣ разныхъ разговоровъ о подробностяхъ дѣйствительно ужасныхъ физическихъ страданій, перенесенныхъ Иваномъ Ильичемъ (подробности эти я узнавалъ только по тому какъ мученія Ивана Ильича дѣйствовали на нервы Прасковьи Ѳедоровны) послѣ разныхъ разговоровъ Прасковья Ѳедоровна передала сущность ея дѣла ко мнѣ. Оказывается, что за 5 дней до смерти, когда у Ивана Ильича еще были промежутки безъ страшныхъ болей по часу, по полчаса, въ одинъ изъ этихъ промежутковъ Прасковья Ѳедоровна застала его за писаньемъ. И открылось, что онъ два мѣсяца пишетъ свой дневникъ. Одинъ только Герасимъ, буфетный мужикъ, зналъ про это. На вопросъ: что? зачѣмъ? На упреки, что онъ вредить себѣ, Иванъ Ильичъ отвѣчалъ, что это одно его утѣшеніе – самимъ съ собой говорить правду.[36] Сначала онъ сказалъ ей: «сожги ихъ послѣ меня»; но потомъ задумался и сказалъ! «А впрочемъ, отдай Творогову (т. е. мнѣ). Онъ все таки болѣе человѣкъ чѣмъ другіе, онъ пойметъ».

И вотъ Прасковья Ѳедоровна передала мнѣ записную графленую книжечку счетную въ осьмушку, въ которой онъ писалъ.

– Что жъ это? – спросилъ я. – Вы читали?

– Да, я пробѣжала. Ужасно грустно. Ни по чѣмъ не видно такъ, какъ по этому, какъ страданія его имѣли вліяніе на душу. Вотъ это ужасно, и нельзя не признать правду за матерьялистами. Онъ уже былъ не онъ. Такъ это слабо, болѣзненно. Нѣтъ, связи, ясности, силы выраженія. А вы[37] знаете его стиль. Его отчеты это были шедевры. Мнѣ самъ П. М. Онъ былъ у меня (это былъ главный нашъ начальникъ) и очень былъ добръ. Истинно какъ родной. Онъ мнѣ сказалъ, что это было первое,

лучшее перо въ министерствѣ. А здѣсь, – сказала она, перелистывая пухлыми, въ перстняхъ пальцами книжечку, – такъ слабо, противурѣчиво. Нѣтъ логики, той самой, въ которой онъ былъ такъ силенъ. Мнѣ все таки это дорого, вы возвратите мнѣ, какъ дорого все, что онъ. Ахъ! Мих. Сем. какъ тяжело, какъ ужасно тяжело – и она опять заплакала. Я вздыхаль[38] и ждалъ когда она высморкается. Когда она высморкалась, я сказалъ: повѣрьте... и опять она разговорилась и высказала мнѣ то, что было, очевидно, ея главнымъ интересомъ[39] – имущественное свое положеніе. Она сдѣлала видъ, что спрашиваетъ у меня совѣта о пенсіонѣ, но я видѣлъ, что она уже знаетъ до малѣйшихъ подробностей то, чего я не зналъ, все то, что можно вытянуть отъ казны для себя и для дѣтей. – Когда она все рассказала, я пожалъ руку, поцѣловаль[40] даже и съ книжечкой пошелъ въ переднюю. Въ столовой съ часами, которыя онъ такъ радъ былъ, что купилъ въ брикабракѣ, я встрѣтилъ въ черномъ его красивую, грудастую, съ тонкой таліей дочь. Она имѣла мрачный и гнѣвный, рѣшительный видъ. Она поклонилась мнѣ, какъ будто я былъ виноватъ. Въ передней никого не было. Герасимъ, буфетный мужикъ, выскочилъ изъ комнаты покойника, перешвырялъ своими сильными руками всѣ шубы, чтобы найти мою, и подалъ мнѣ.

– Что, братъ, Герасимъ, жалко.[41]

– Божья воля. Всѣ тамъ же будемъ, – сказалъ Герасимъ, улыбаясь и живо отворилъ мнѣ дверь, кликнулъ кучера, поглядѣлъ и захлопнулъ дверь.

Я взялъ записки и вечеромъ послѣ клуба, оставшись одинъ, взялъ эту книжечку на ночной столикъ и сталъ читать.[42] –

Вотъ эти записки.

<16 Декабря 1881.[43]

6-ю ночь я не сплю и не отъ тѣлесныхъ страданій. Они все таки давали мнѣ спать, но отъ страданій душевныхъ ужасныхъ, невыносимыхъ. Ложь, обманъ, ложь, ложь, ложь, ложь, все ложь. Все вокругъ меня ложь, жена моя ложь, дѣти мои ложь, я самъ ложь, и вокругъ меня все ложь. [44] Но если я страдаю отъ нея,[45] я вижу, значить, и эту мерзкую ложь есть во мнѣ и правда. Если бы я весь былъ ложь, я бы не чувствовалъ ее. Есть[46] во мнѣ, видно, маленькая, крошечная частица правды, и она-то – я самый, и она то теперь, передъ смертью, заявляетъ свои права; и она то страдаетъ, ее то душатъ со всѣхъ сторонъ, забиваютъ, и это мнѣ больно, больно такъ, что хоть бы скорѣе смерть. Пусть потухнетъ или разгорится эта искра. Теперь же одна жизнь моя – это самому съ собой среди этой лжи думать[47] правду. Но чтобы яснѣе думать ее, чтобы найти эту правду, когда ложь затопитъ меня, я хочу написать ее. Буду писать пока силы есть, буду перечитывать, а ктонибудь послѣ прочтетъ и можетъ быть очнется.

Начну сначала, какъ это все сдѣлалось со мной.>

Записки эти ужасны. Я прочелъ ихъ, не спалъ всю ночь и поѣхалъ на утро къ Прасковѣ Ѳедоровнѣ и сталъ спрашивать про ея мужа. Она мнѣ много рассказала и отдала его переписку, его прежній дневникъ. Когда уже похоронили Ивана Ильича, я еще нѣсколько разъ былъ у Прасковьи Ѳедоровны, спрашивалъ ее, спрашивалъ его дочь, Герасима, который поступилъ ко мнѣ. И изъ всего этого я составилъ себѣ описаніе послѣдняго года жизни Ивана Ильича.

Исторія эта и самая простая и обыкновенная и самая ужасная. Вотъ она:

Иванъ Ильичъ умеръ 42 лѣтъ, членомъ судебной палаты. Онъ былъ сынъ Петербургскаго чиновника Государственныхъ Имуществъ Тайнаго Совѣтника, составившаго себѣ маленькое состояніе. Иванъ Ильичъ былъ 2-й сынъ, старшій былъ полковникъ, а меньшой неудался и служилъ по желѣзнымъ дорогамъ, сестра была замужемъ за Барономъ Гриле. И Баронъ былъ Петербургскимъ же чиновникомъ. Иванъ Ильичъ воспитывался въ Правовѣденіи, говорилъ по французски, бывалъ на балахъ у Принца б., спрашивалъ, сынъ ли онъ отца, былъ долженъ швейцару и за пирожки, носилъ *respite finem* медальку, былъ на ты съ товарищами, по выходѣ заказалъ фракъ и вицмундиръ у Шармера. Было веселое время, тонкій, ловкій правовѣдъ тотчасъ по протекціи отца поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ начальнику губерніи и высоко и весело носилъ первые два года знамя *сomme il faut*-наго правовѣда – честный, общительный, порядочный, съ чувствомъ собственного достоинства и съ непоколебимой увѣренностью, что онъ свѣтитъ во мракъ провинціи. Иванъ Ильичъ танцевалъ, волочился, кутилъ; изрѣдка и ѣздилъ по уѣздамъ съ новенькимъ петербургскимъ чемоданомъ и въ шармеровскомъ вицмундирѣ, походкой порядочнаго человѣка всходилъ въ кабинетъ начальника и оставался обѣдать и [48] говорить по французски съ начальницей. – Было веселое, легкое, спокойное время. Была связь съ одной изъ дамъ, навязывавшихся щеголеватому правовѣду, и связь эта чуть было не затянула Ивана Ильича. Но пришла перемѣна по службѣ, связь разорвалась.

Перемѣна по службѣ тоже была веселой. Были новые судебные учрежденія. Нужны новые люди. Уже и такъ Иванъ Ильичъ несъ знамя порядочности и прогресса; а тутъ еще на знамѣ написалось: европеизмъ, прогрессъ либеральность, гласный судъ – правый и короткій. Сомнѣнья въ томъ, что быть судебнымъ слѣдователемъ дѣло не только хорошее, но прелестное, не могло быть. Права огромны, несмѣняемость, въ 5 классѣ. И Иванъ Ильичъ сталъ судебнымъ слѣдователемъ такимъ же совершеннымъ [49] и [50] *сomme il faut*-нымъ. Дѣло кипѣло. Иванъ Ильичъ хорошо писалъ и любилъ элегантно писать. И былъ увѣренъ въ себѣ. И дѣло шло. Но тутъ, въ другой провинціи, прежде чѣмъ завязалась новая связь, наскочила не старая, но уже и не молодая дѣвица. Иванъ Ильичъ прельщалъ ее, какъ всѣхъ. Дѣвица прельстилась, но понемногу стала затягивать Ивана Ильича и затянула.

И Иванъ Ильичъ женился. Женильба Ивана Ильича была первый актъ жизни, съуживающій первый размахъ. Прасковья Ѳедоровна была стараго дворянскаго рода, не дурна, полна, чувственна, было маленькое состояньице. Все бы это ничего. Но Иванъ Ильичъ могъ рассчитывать на самую высокую партію, а это была партія ниже средней. Впрочемъ, что же, женильба не мѣшаетъ карьерѣ. И если я уже попался, то могу сказать себѣ, что я не продаю сердце. Такъ и сказалъ себѣ Иванъ Ильичъ. И мечталъ о супружескомъ счастья такъ, что кромѣ прежнихъ удовольствій холостой жизни будетъ еще домашняя поэзія. Но тутъ оказалось, что жена ревнива, зла, язычна, скупа, безтолкова, и что удовольствія холостой жизни, даже самые невинные, какъ танцы, клубъ надо оставить, а вмѣсто поэзіи очага имѣть ворчливость, [51] привередливость, укоризны. – Это была первая тяжелая пора жизни Ивана Ильича, но онъ сѣумѣлъ найтись. Вся энергія Ивана Ильича перешла на службу. Онъ сталъ [52] честолюбивъ: И служба – бумага хорошо написанная стала понемногу цѣлью и радостью его жизни. Пошли дѣти, состояньице жены ушло на обзаведеніе, жена стала укорять и требовать. И потому служба и честолюбіе усилились еще тѣмъ, что одна служба могла давать деньги. И Иванъ Ильичъ работалъ много, охотно, и его цѣнили какъ хорошаго служаку, и повысили. Но тутъ случилось другое непріятное событіе. Будучи уже товарищемъ прокурора и лучшимъ, правя всегда должность, Иванъ Ильичъ ждалъ, что его не обойдутъ при первомъ назначеніи въ Прокуроры. Оказалось, что Гопа, Товарищъ Прокурора, забѣжалъ какъ-то въ Петербургъ, и его, младшаго, назначили, а Иванъ Ильичъ остался. Иванъ Ильичъ сталъ раздражителенъ, ввязался въ дѣло съ Губернаторомъ. Онъ былъ правъ; но начальству суда было [53] неудобно имѣть непріятность съ губернаторомъ. Къ нему стали холодны. Все это взбѣсило Ивана Ильича, онъ бросилъ все и пошелъ на мѣсто ниже своего въ другое вѣдомство. – Надо было переѣзжать. Жена замучила его упреками. Жизнь и служба были непріятны. Жалованья было больше, но жизнь дороже, климатъ дурной – говорили доктора. Умеръ сынъ. Жена говорила, что отъ климата, что онъ виноватъ во всемъ. Жена со скуки кокетничала съ губернаторомъ. Повышенія и перехода назадъ не предвидѣлось, самъ онъ заболѣлъ ревматизмами. Положеніе было дурное со всѣхъ сторонъ. Но Иванъ Ильичъ не отчаявался, поѣхалъ въ Петербургъ. Тамъ черезъ друзей отца и одну даму устроилъ себѣ вновь переходъ въ министерство юстиціи на мѣсто выше того, которое занималъ его товарищъ. Ему обѣщали, но перевода все не было до [54] 1880 года. – Тотъ то годъ былъ самый тяжелый въ жизни Ивана Ильича. – Но тутъ помогла вдругъ и его энергія и счастье, и стало все понемногу устроиваться. Вотъ съ этого то времени и начинается эта ужасная исторія послѣдняго года жизни Ивана Ильича, которую я хочу рассказать.

Въ концѣ [55] Августа Иванъ Ильичъ вернулся изъ Петербурга въ деревню къ зятю, у котораго жила жена съ дочерью.

Отношенія Прасковьи Ѳедоровны съ семействомъ [56]..... были самые натянутые. Подразумѣвалось и всѣмъ такъ рассказывалось, что мы такъ давно не видались и такъ счастливы провести лѣто вмѣстѣ, что нетолько разговора, но и мысли не можетъ быть о томъ, что семейство

Ивана Ильича занимает комнаты, ѣсть, пьетъ, дѣлаетъ нечистоты, которые должна исправлять все таже прислуга, подразумѣвалось, что всѣ этимъ очень счастливы, въ дѣйствительности же своякъ Ивана Ильича, хозяинъ, каждый день ложась спать, говорилъ женѣ: [57]

– Несносно. Вѣдь надо честь знать, эта безсовѣстность – поселиться и жить. – Эта каторга. И эти претензіи!

– Да ну, чтоже, теперь уже недолго.

– Недолго! Я конца не вижу этому. Очевидно, онъ испортилъ своей самоувѣренностью, и ему ничего не дадутъ. Да и что онъ за драгоценность, что ему сейчасъ мѣсто предсѣдателя? Ничего ему не дадутъ. А мы неси все это.

Такъ было со стороны хозяевъ. Со стороны гостей было тоже. Прасковья Ѳедоровна говорила, что такой *ladrerie*[58] (она ее замѣчала) она не видывала и не ожидала и что это – мученье, которое въ жизнь не забудеть. Видѣть, что трясутся надъ каждымъ кускомъ. (Она преувеличивала; но въ этомъ была и доля правды) и что если бы она знала, она лучше бы въ избѣ на черномъ хлѣбѣ жила. Но въ избѣ на черномъ хлѣбѣ она и не пыталась жить. Говорила же она это все[59] въ такой преувеличенной формѣ для того, чтобы мучать этими рѣчами Ивана Ильича. И Ивана Ильича это мучало ужасно. И [60] Иванъ Ильичъ въ это послѣднее время не видалъ добраго лица на своей женѣ, не слыхалъ добраго слова. – Что было еще хуже, дочь отъ скуки и жиру начала кокетничать съ учителемъ. И во всемъ этомъ былъ виноватъ [61] Иванъ Ильичъ. Такъ было внутри, наружно же все было очень прекрасно. [62] Когда пріѣзжалъ сосѣдъ и послѣ обѣда выходилъ съ гостями на каменную терасу и лакей въ бѣломъ галстукѣ разносилъ кофе, и всѣ другъ другу улыбались, и невѣстка улыбалась, и хозяинъ говорилъ, что у нихъ нынче особенно весело лѣтомъ, гостямъ казалось, что тутъ рай. А тутъ былъ адъ. И въ этомъ аду съ страхомъ того, что изъ него не выберешься, жилъ Иванъ Ильичъ. Въ послѣднее свое пребываніе въ деревнѣ у зятя онъ, [63] щепетильный и самолюбивый человекъ, замѣтилъ, что онъ въ тягость, и что въ отношеніяхъ къ нему примѣшивается оттѣнокъ презрѣнія, а отъ жены и дочери кромѣ упрековъ не слыхалъ ничего.

Въ Августѣ, почти въ отчаяніи успѣть въ своемъ дѣлѣ, Иванъ Ильичъ поѣхалъ еще разъ въ Петербургъ. Онъ ѣхалъ только за однимъ [64] – исхитриться выпросить мѣсто въ 7 тысячъ жалованья. Онъ уже не держался никакого министерства, направленія, рода дѣятельности. Ему нужно было мѣсто – мѣсто съ 7-ю тысячами. Безъ мѣста съ 7-ю тысячами – гибель. Онъ не допускалъ возможности этой гибели; но в эту поѣздку онъ уже рѣшилъ, что не по юстиціи, то по администраціи, по банкамъ, по желѣзнымъ дорогамъ, императрицы Маріи, даже таможни – но 7 тысячъ. И онъ ѣхалъ, везя себя на базаръ, [65] кому понадобился, кто дастъ больше. Опять эта цѣль поѣздки его была настоящая, существенная; но подразумѣвалось совсѣмъ не то – подразумѣвалось,

что отецъ Ивана Ильича былъ очень плохъ. Онъ жилъ въ Царскомъ, и давно уже[66] ждали его смерти. «Il est allé voir mon pauvre beau père. Il ne fera pas du vieux os. Et Jean a toujours été son favori», [67] – говорила Прасковья Ѳедоровна и говорилъ Иванъ Ильичъ. И вотъ эта поѣздка Ивана Ильича увѣнчалась удивительнымъ, неожиданнымъ успѣхомъ. Въ Курскѣ подсѣлъ въ 1-й классъ къ Ивану Ильичу знакомый и сообщилъ свѣжую телеграмму, полученную утромъ губернаторомъ, что въ министерствахъ произойдетъ на дняхъ перетасовка: Петръ Петровичъ, новое лицо, поступалъ на мѣсто Ивана Петровича, Иванъ Ивановичъ на мѣсто Пет. И., П. И. на мѣсто И. П., а Ив. П. на мѣсто Ивана Ивановича. До самой Москвы Иванъ Ильичъ бесѣдовалъ съ знакомымъ о томъ, какіе и какіе послѣдствія выйдутъ для Россіи отъ этой перемѣны. Въ разговорѣ тоже подразумѣвалось – для Россіи, въ дѣйствительности же интересъ разговора состоялъ въ соображеніи послѣдствій отъ этой перетасовки для полученія мѣсть съ деньгами для самихъ себя и своихъ знакомыхъ. Предполагаемая перетасовка, вводя новое лицо – Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, была въ высшей степени благопріятна для Ивана Ильича. Захаръ Ивановичъ былъ товарищу другъ и человѣкъ обязанный Ивану Ильичу. Въ Москвѣ извѣстіе подтвердилось. А пріѣхавъ въ Петербурга, Иванъ Ильичъ нашель Захара Ивановича и получилъ обѣщаніе вѣрнаго мѣста въ томъ же своемъ министерствѣ. И черезъ недѣлю телеграфировалъ женѣ: «Захаръ мѣсто Шлеера при первомъ докладѣ получаю назначеніе Москву».

Всѣ ожиданія Ивана Ильича оправдались. Онъ получилъ назначеніе то, которое даже уже не ожидалъ, получилъ такое назначеніе, въ которомъ онъ сталъ на двѣ степени выше своихъ товарищей, 8 тысячъ жалованья и подъемныхъ 3500.

Какъ горе одно не ходитъ, такъ и радости. Для Прасковьи Ѳедоровны къ радости этого извѣстія примѣшивалось одно еще горе – это вопросъ о томъ, какъ переѣхать и меблировать домъ такъ, чтобы можно было выѣзжать въ высшемъ московскомъ свѣтѣ (это была 20-лѣтняя мечта Прасковьи Ѳедоровны) подъ предлогомъ вывоза дочери. Денегъ не было. Мебель, оставшаяся въ провинціи, была не такая, при которой бы можно было выѣзжать, а на 3500 ничего завести нельзя. Это одна гостиная. И тутъ же въ этомъ мѣсяцѣ разрѣшилось и это затрудненіе. Старикъ отецъ Ивана Ильича умеръ двѣ недѣли послѣ назначенія своего сына. У старика ничего не было, кромѣ пенсіи въ 6000; но у него была прелестная мебель и вещи. Домъ его былъ игрушка художественной *vieux saxe* – бронзы, мебель старинная – та самая, что въ модѣ, и все это перешло къ Ивану Ильичу. Первая телеграмма Ивана Ильича была такая: «Папа тихо скончался 17-го въ 2 часа дня. Похороны субботу. Не жду тебя. «Вторая телеграмма: «Акціи и билеты поровну намъ и Сашѣ. Всего было на 12 тысячъ, движимость вся мнѣ».

– Я очень рада за Jean, – говорила Прасковья Ѳедоровна, – что онъ закрылъ глаза своему отцу. Я его мало знала, но тоже любила. Моя судьба не выходитъ изъ траура.

Такъ что вдругъ изъ самого труднаго положенія Иванъ Ильичъ. съ семьей пришелъ въ самое пріятное.

Когда Иванъ Ильичъ вернулся въ деревню съ разсказами о томъ, какъ его всѣ чествовали, какъ всѣ тѣ, которые были его. врагами, были посрамлены и подличали теперь передъ нимъ, какъ ему завидуютъ за его положеніе, в особенности какъ всѣ его сильно любили въ Петербургѣ, Прасковья Ѳедоровна уже привыкла къ этой манерѣ разсказа Ивана Ильича, когда онъ былъ въ духѣ. Сама она никогда не замѣчала, чтобы въ ее присутствій другіе особенно нѣжно обращались къ Ивану Ильичу, но по его разсказамъ, когда онъ былъ въ духѣ, всегда выходило, что у всѣхъ людей въ Петербургѣ за его послѣднее пребываніе тамъ была одна забота, одна радость – чествовать Ивана Ильича, услуживать ему, говорить ему пріятное. – Отношенія въ семьѣ зятя тотчасъ же тоже перемѣнились. Головины собрались уѣзжать, какъ только готова будетъ квартира въ Москвѣ, и уже ими нетолько не тяготились, а ухаживали за ними, стараясь загладить прошедшее.

Иванъ Ильичъ пріѣхалъ на короткое время 10 сентября, ему надо было принимать должность и, кромѣ того, нужно было время устроиться въ Москвѣ, перевезти все изъ провинціи, изъ Петербурга, прикупить, приказать еще многое – однимъ словомъ, устроиться такъ, какъ это рѣшено было давно въ душѣ Прасковьи Ѳедоровны. И планъ Прасковьи Ѳедоровны, дома элегантнаго, свѣтскаго, высокаго лица, вывозящаго дочь, нравился Ивану Ильичу. Нетолько нравился, но Иванъ Ильичъ, притворяясь, что это – планъ жены, самъ лелѣялъ эту мысль. И теперь, когда все устроилось такъ удачно и когда они сходились съ женою въ цѣли, и кромѣ того, они мало жили вмѣстѣ, они такъ дружно сошлись, какъ не сходились съ первыхъ лѣтъ женатой своей жизни. Таничка дочь совсѣмъ разсіяла, бросила кокетничать съ студентами и вся отдалась прелестному будущему в Москвѣ.

Иванъ Ильичъ было думалъ увезти семью тотчасъ же; но настоянія сестры и зятя: «Какъ это можно? Куда же вы въ гостинницу? Теперь еще такъ хорошо въ деревнѣ; а для насъ такая радость. А Jean пусть устраиваетъ и можетъ пріѣзжать – тутъ десять часовъ въ поѣздѣ – и у насъ». И рѣшено было ѣхать одному Ивану Ильичу. Иванъ Ильичъ уѣхалъ, и веселое расположеніе духа и удача, одно усиливающее другое, все время не оставляли его.

Нашлась квартира прелестная – то самое, что мечтали мужъ съ женою – широкіе, высокіе, въ строгомъ стилѣ пріемныя комнаты, удобный, скромный кабинетъ, комнаты женѣ и дочери, все какъ нарочно придумано для нихъ, все чисто, грандіозно, но не ново. Иванъ Ильичъ самъ взялся за устройство, распаковывалъ ящики изъ Петербурга, выбиралъ обои, подкупалъ мебель, обивку, и все росло росло и приходило къ тому идеалу, который онъ составилъ себѣ, и даже, когда онъ до половины устроилъ, превзошло его ожиданье. Онъ понялъ тотъ рѣдко изящный и широкій характеръ, который приметъ все, когда устроится.

Онъ не ждалъ, что такъ полюбить это дѣло. Засыпая онъ представлялъ себѣ залу, какою она будетъ. Глядя на гостиную, еще не конченную, онъ уже видѣлъ каминъ, экранъ, этажерку и эти стульчики, разбросанные и эти прелестные отцовскіе бронзы, когда они всѣ станутъ по мѣстамъ. Его радовала мысль, какъ онъ поразить Пашу и Таничку. Они никакъ не ожидаютъ этого. Въ особенности отцовскія вещи. Онъ въ письмахъ своихъ и при свиданіи нарочно представлялъ все хуже, чѣмъ есть, чтобы поразить ихъ. Они предчувствовали это и радовались. Это такъ занимало его, что даже новая служба его, любящаго это дѣло, занимала меньше, чѣмъ онъ ожидалъ. Въ засѣданіяхъ у него бывали минуты разсѣянности: онъ задумывался о томъ, какіе карнизы на гардины, прямые или подобранные. Онъ такъ былъ занятъ этимъ, что самъ часто возился, переставлялъ даже мебель и самъ перевѣшивалъ гардины.

Разъ онъ влѣзъ на[68] лѣсенку, чтобы показать непонимающему обойщику, какъ онъ хочетъ драпировать, [69] оступился и упалъ, но, какъ сильный и ловкій человекъ, удержался, только бокомъ стукнулся объ ручку рамы. Ушибъ былъ не важный и скоро прошелъ. Вообще же Иванъ Ильичъ, какъ и писалъ и говорилъ, чувствовалъ себя отъ этой физической работы по дому лучше, чѣмъ когда нибудь.

Онъ писалъ: «Чувствую что съ меня соскочило лѣтъ 15». Онъ думалъ кончить въ сентябрѣ, но затянулось до половины октября. За то было прелестно. Нетолько онъ говорилъ, но ему говорили всѣ, кто видѣли. Когда я былъ у Ивана Ильича и видѣлъ его помѣщеніе, оно было уже обжито, и теперь, зная, сколько[70] труда было положено имъ и радости это ему доставило, я стараюсь вспомнить, но тогда я не замѣтилъ. Это было то самое, что видишь вездѣ: штофъ, цвѣты, ковры, черное дерево, бронзы, темное и блестящее, – все то, что всѣ извѣстнаго рода люди дѣлаютъ, чтобы быть похожими на всѣхъ людей извѣстнаго рода. И у него было такъ похоже, что нельзя было обратить вниманіе, потому что видѣлъ это самое тысячу разъ. А оказывается, что ему добиться этого сходства стоило большого труда, а главное, вполне заняло всего его.

Когда онъ, встрѣтивъ своихъ на станціи желѣзной дороги, привезъ ихъ въ свою освѣщенную готовую квартиру, и лакей въ бѣломъ галстукѣ отперъ дверь въ убранную цвѣтами переднюю, а потомъ они вошли въ гостиную, кабинеты и ахали отъ удовольствія, онъ былъ[71] очень счастливъ, водилъ ихъ вездѣ, впивалъ въ себя ихъ похвалы и сіялъ отъ удовольствія.

Въ этотъ же вечеръ за чаемъ Прасковья Ѳедоровна, получившая письмо объ его паденіи, спросила его, [72] не ушибся ли онъ? Онъ сказалъ, что нисколько.

– Я не даромъ гимнастъ, другой бы убился, а я чуть чуть ударился вотъ тутъ, когда тронешь, еще больно, но уже проходитъ, просто синякъ.

– Нѣтъ, какъ Таничкинъ кабинетъ хорошъ, съ какимъ вкусомъ.

– Да папа ужь сдѣлаеть. Прелестъ.

И они начали жить въ новомъ помѣщеніи съ новыми достаточными (какъ всегда почти) средствами, и было очень хорошо. [73] – Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено и надо было еще [74] устраивать то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Когда уже нечего было устраивать стало немножко скучно, но тутъ уже сдѣлались знакомства и привычки, и жизнь наполнилась.

Расположеніе духа Ивана Ильича было хорошо; хотя и страдало немного именно отъ помѣщенія. Всякое пятно на скатерть, на штофъ, оборванный снурокъ гардины раздражало его. Онъ столько труда положилъ на устройство, что ему больно было всякое разрушеніе. Но вообще жизнь Ивана Ильича казалась ему совершенно полною, пріятною и хорошею. Онъ вставалъ въ 9, пилъ кофе, читалъ «Голосъ». Потомъ надѣвалъ вицмундиръ, ѣхалъ въ Судъ. Тамъ уже обмялся тотъ хомутъ, въ которомъ онъ работалъ, онъ сразу попадалъ въ него, Просители, справки въ канцеляріи, сама канцелярія, засѣданія публичныя и распорядительныя. Во всемъ этомъ надо было дѣйствовать и жить одной стороною своего существа – внѣшней служебной. [75] Надо было не допускать съ людьми никакихъ отношеній помимо служебныхъ. И поводъ къ отношеніямъ долженъ былъ быть только служебный, и самыя отношенія только служебныя. Напримѣръ, приходитъ человекъ и желаетъ узнать что нибудь. Иванъ Ильичъ какъ человекъ не долженъ и не можетъ имѣть никакихъ отношеній ни къ какому человеку; но если есть отношеніе этого человека къ члену такое, которое можетъ быть выражено на бумагѣ съ заголовкомъ, въ предѣлахъ этихъ отношеній Иванъ Ильичъ дѣлаеть все, все рѣшительно, что можно, и при этомъ соблюдаетъ подобіе человѣческихъ дружелюбныхъ отношеній. Какъ только кончается отношеніе служебное, такъ кончается всякое другое. Этимъ умѣніемъ отдѣлять отъ себя эту паутину служебную, не смѣшивая ее съ своей настоящей жизнью, Иванъ Ильичъ владѣлъ въ высшей степени. И долгой практикой и талантомъ выработалъ его до такой степени, что онъ даже, какъ виртуозъ, иногда позволялъ себѣ какъ бы шутя смѣшивать человѣческое и служебное отношеніе. Онъ позволялъ это себѣ, какъ виртуозъ, потому что чувствовалъ въ себѣ умѣнье во всякое мгновеніе опять подраздѣлить то, что не должно быть смѣшиваемо. Дѣло это шло у Ивана Ильича легко и даже пріятно, потому что виртуозно. Въ промежуткахъ отъ куренія пилъ чай, бесѣдовалъ немножко о политикѣ, немножко объ общихъ и больше всего о назначеніяхъ. И усталый, но съ чувствомъ виртуоза, отчетливо отдѣлавшаго свою важную партію, одну изъ первыхъ скрипокъ въ оркестрѣ, возвращался домой. – Вотъ тутъ дома передъ обѣдомъ чаще всего Иванъ Ильичъ замѣчалъ пятно на штофѣ, оцарапанную ручку кресла, отломанную бронзу и начиналъ чинить и сердиться. Но Прасковья Ѳедоровна знала это и торопила людей подавать обѣдать.

Послѣ обѣда, если не было гостей, Иванъ Ильичъ читалъ «Голосъ» уже

внимательно, иногда, очень рѣдко, книгу, про которую много говорятъ. И вечеромъ садился за дѣла, т. е. читаль бумага, справлялся съ законами, сличая показанія и подводилъ подъ законы. Ему это было не скучно, не весело. Скучно было, когда можно было играть въ винтъ, но если не было винта, то это было всетаки лучше, чѣмъ сидѣть одному или съ женой.

Удовольствія же Ивана Ильича были обѣды маленькіе, на которые онъ звалъ важныхъ по свѣтскому положенію дамъ и мужчинъ, и такое времяпрепровожденіе съ ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровожденіе времени такихъ людей, также какъ гостиняя его была похожа на всѣ гостинны. Одинъ разъ у нихъ былъ даже вечеръ. Танцевали. И Ивану Ильичу было весело. И все было хорошо, только вышла ссора съ женой изъ-за тортовъ и конфетъ: у Прасковьи Ѳедоровны былъ свой планъ, а Иванъ Ильичъ настоялъ на томъ, чтобы взять все у Альбера, и взяли много тортовъ. И ссора была за то, что торты остались, а счетъ Альбера былъ въ 45 рублей. Ссора была большая и непріятная, такъ что Прасковья Ѳедоровна сказала ему: «дуракъ кислый». А онъ схватилъ себя за голову и въ сердцахъ что-то упомянулъ о разводѣ. Но самъ вечеръ былъ веселый. Было лучшее Московское общество и Иванъ Ильичъ танцевалъ съ княгиней Турфоновой, сестрой той, которая извѣстна учрежденіемъ находящагося подъ покровительствомъ императрицы общества «унеси ты мое горе». Радости служебныя были радости самолюбія, радости общественныя были радости тщеславія. Но настоящія радости Ивана Ильича были радости игры въ винтъ. [76] Онъ признавался, что послѣ всего, послѣ какихъ бы то ни было событій радостныхъ въ его жизни, радость, которая, какъ свѣча, горѣла передъ всѣми другими, это сѣсть съ хорошими игроками и не крикунами партнерами въ винтъ и непременно вчетверомъ (впятеромъ ужъ очень больно выходить, хоть и притворяешься, что я очень [77] люблю) и [78] вести умную серьезную игру (когда карты идутъ) съ толковымъ понимающимъ партнеромъ.

Пужинать, выпить стаканъ вина. А спать послѣ винта, особенно когда въ маленькомъ выигрышѣ (большой – непріятно), Иванъ Ильичъ ложился въ особенно хорошемъ расположеніи духа.

Такъ они жили. [79] Кругъ общества составилъ у нихъ самый лучшій. Во взглядѣ на кругъ своихъ знакомыхъ мужъ, жена и дочь были совершенно согласны. И не сговариваясь одинаково оттирали отъ себя и освобождались отъ всякихъ разныхъ пріятелей и родственниковъ замарашекъ, которые разлетались съ нѣжностями [80] въ Москву въ гостиную съ майоликовыми блюдами по стѣнамъ. Скоро эти [81] друзья замарашки перестали разлетаться и дѣлать диспарать, и у Головиныхъ осталось общество одно самое лучшее. Ѳздили и важные люди и молодые люди. Молодые люди ухаживали за Таничкой, и Петрищевъ, сынъ Дм. Ив. Петрищева и единственный наслѣдникъ его состоянія, судебный слѣдователь сталъ ухаживать за Таничкой. Такъ что Иванъ Ильичъ уже поговаривалъ объ этомъ съ Прасковьей Ѳедоровной. Такъ они жили. И все шло такъ не измѣняясь. Всѣ были счастливы и здоровы. Нельзя было назвать нездоровьемъ то, что Иванъ Ильичъ говорилъ иногда, что у

него странный вкус во рту и что то неловко въ лѣвой сторонѣ живота.

№ 2.

Нельзя и нельзя и нельзя такъ жить какъ я жилъ какъ я еще живу и какъ мы всѣ живемъ.

Я понялъ это вслѣдствіи смерти моего знакомаго Ивана Ильича и записокъ которыя онъ оставилъ.

Опишу то какъ я узналъ о его смерти и какъ я до его смерти и прочтенія его записокъ смотрѣлъ на жизнь.

К главе 1.

И. П. засталъ еще партію и успѣлъ сыграть дваробера. Въ одномъ изъ нихъ онъ назначалъ малый шлемъ безъ онеровъ я выигралъ, и это очень волновало его. Въ 3-мъ ужъ часу онъ легъ въ постель. Жена уже спала. И. П. раздѣлся, легъ и, какъ всегда на ночь, сталъ читать французскій романъ. Онъ остановился на томъ, какъ героиня поступила на сцену въ кафе-шантанъ и имѣла успѣхъ, и мужъ вновь влюбился въ нее, не узнавая ее; но узналъ только по аріи, которую она спѣла. И вдругъ въ связи съ аріей Ив. Петровичу вспомнилась арія изъ Риголето, давнишняя арія donna e mobile, которую онъ очень любилъ въ бытность свою въ Правовѣденіи, и онъ, какъ сейчасъ, услышалъ эту арію, такъ какъ онъ слышалъ ее въ первый разъ послѣ оперы. Это было въ дортуарѣ 3-го класса. Всѣ спятъ, рядъ постелей, храпъ, дыханье сонное, тишина. Надзиратель вышелъ. [82] Въ дортуарѣ свѣтло вверху и темно внизу. И вотъ, недалеко, черезъ двѣ кровати, вдругъ странные, слабые, чистые и прелестные звуки на какомъ-то неслыханномъ инструментѣ – звуки donna e mobile. И. П. привсталъ, поглядѣлъ, на третьей кровати сидитъ поднявшись маркиза: такъ прозывали И. И. въ Правовѣденіи, и это онъ на чемъ то играетъ. Это онъ, щелкая по зубамъ, играетъ арію чисто, нѣжно, съ такими вѣрными интонаціями. [83] Иванъ Петр. всталъ молча и подошелъ. Головинъ [84] И. И. сидитъ въ ночной рубашкѣ; шея тонкая, нѣжная, волоса мягкіе, спутанно вьются, [85] и косичка на затылкѣ, вьющаяся сзади, та косичка, которая служитъ примѣтой того, что слѣдующій членъ семьи будетъ сестра. И точно была сестра. Та самая несносная безтолковѣйшая барыня желтая и злая, которая была нынче на панихидѣ. И. П. помнилъ эту сестру молодой, а теперь что изъ нея сдѣлалось. А самъ И. И. съ косичкой? Гдѣ онъ? Что изъ него сдѣлалось? То, что лежитъ на гробовой подушкѣ, выставивъ восковой носъ и ноздри и сложивъ [86] худыя жилистыя и окаменѣвающія бѣлыя руки, и увѣряетъ меня, что и я сдѣлаюсь тѣмъ же. И. П. вздрогнулъ и пробурчалъ что-то и

повернувшись заскрипѣлъ кроватью. Жена чмокнула губами просыпаясь. «Это невыносимо, – сказала она, – приѣдешь къ утру, и то не спишь и другимъ не даешь спать. Надо хоть немножко совѣсти имѣть». Ив. Петр. подулъ на свѣчку, и она не задулась. Онъ пальцами потушилъ ее, легъ и затихъ. Но не могъ удержаться и тяжело вздохнулъ. «Надо думать о другомъ». И чтобы развлечься, онъ сталъ думать о томъ странномъ маломъ шлемѣ, который они выиграли безъ онеровъ. Шлемъ этотъ даже можно было выиграть прямо назначеніемъ въ товарищи предсѣдателя, какъ то пришло ему въ голову. И ему представилась еще другая игра, которая бы могла придти даже безъ фигуръ. Только одна дама червей, и тогда 800 рублей выигрывается. Потомъ дама червей стала что-то рассказывать и поднимать то самое, что [87] Марья Федоровна, дама изъ Казани, поднимала и рассказывала [88] въ прошлую ночь, и онъ заснулъ.

Страница черновой рукописи «Смерти Ивана Ильича». (Размер подлинника).

*№ 4.

К главе II

Но тутъ вдругъ явилось что то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, отъ чего никакъ нельзя было отдѣлаться и чему никакъ нельзя было придать характеръ легкой пріятности и приличія.

Оказалось, что жена была ревнива, скупа, безтолкова и что въ домашней жизни ничего не выходило, кромѣ [89] тяжести и скуки. Придать жизни съ ней веселый, пріятный и приличный характеръ не было никакой возможности.

Это былъ первый ухабъ, въ который заѣхала катившаяся такъ ровно до тѣхъ поръ жизнь Ивана Ильича. [90]

*№ 5.

К главе III.

Послѣ семи лѣтъ службы въ одномъ городѣ [91] Ив. Ил. получилъ предложеніе на мѣсто прокурора въ другомъ городѣ. И. И. принялъ.

Жена пробовала было противодѣйствовать ему, но тутъ Иванъ Ильичъ [92] окрысился и такую страшную сцену сдѣлалъ женѣ, что она уже, увидавъ, что онъ въ этомъ отношеніи злѣе ея, покорилась ему, какъ онъ прежде покорялся ей. [93]

Они переѣхали. Денегъ было мало, и женѣ не понравилось то мѣсто, куда они переѣзжали. [94] Но все таки переѣхали. Жалованья было хоть и больше прежняго, но жизнь была дороже. Климатъ былъ дурной, и умеръ ребенокъ, сынъ второй. Уже было трое дѣтей. Осталась старшая дѣвочка и мальчикъ неудачный – золотушный, слабый, нелюбимый.

Жена говорила, что Иванъ Ильичъ виноватъ во всемъ – и въ смерти ребенка, и говорила, что она въ отчаяніи.

Въ семьѣ была постоянная война. Большинство предметовъ разговора наводило на вопросы, по которымъ были воспоминанія ссоръ, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только кое какіе островки, на которыхъ можно было кое какъ держаться не раздражаясь. Но всякую минуту оба были готовы соскочить въ море вражды, которое заливало его со всѣхъ сторонъ, и всякую минуту вспыхивали ссоры, отъ которыхъ оба супруга не могли удерживаться даже при прислугѣ и при дѣтяхъ. Одно спасеніе Ивана Ильича была служба, одно утѣшеніе – его важность. Только въ служебномъ мірѣ еще оставался у него тотъ уголокъ, гдѣ онъ могъ проводить въ жизнь свою вѣру о томъ, что жить надо легко, пріятно и прилично.

Такъ прожилъ онъ еще семь лѣтъ. Послѣдніе два года жизнь для Ивана Ильича стала тяжелѣе: жена стала физически противна, ревность же ея все увеличивалась и не давала ему покоя, въ особенности тѣмъ, что именно ревность ея и возбуждала въ немъ желаніе сближенія съ другими женщинами. Оставалась одна служба. А служба начинала терять прелесть и интересъ, потому что случилось одно непріятное обстоятельство. И. И. ждалъ мѣста Предсѣдателя, но Гоппе, товарищъ его, забѣжалъ какъ то въ Петербургъ вперёдъ и получилъ это мѣсто. И. И. раздражился, сталъ дѣлать упреки и поссорился съ ближайшимъ начальствомъ. Къ нему стали холодны. И въ слѣдующемъ назначеніи его опять обошли. Иванъ Ильичъ, очевидно, былъ умышленно забытъ, и товарищи его всѣ ушли вперёдъ его. [95] И это очень огорчило его.

Такъ было до 1880-го года. Этотъ годъ былъ самый тяжелый въ жизни Ивана Ильича. Въ этомъ году оказалось, съ одной стороны, что жалованья не хватаетъ на жизнь, съ другой, что всѣ его забыли и что то, что казалось для него по отношенію къ нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другимъ представлялось совсѣмъ обыкновеннымъ дѣломъ. Даже отецъ не считалъ своей обязанностью помогать ему. Онъ почувствовалъ, что всѣ покинули его, считая его положеніе съ 3500 жалованья самымъ нормальнымъ и даже счастливымъ. Онъ одинъ зналъ, что съ сознаньемъ тѣхъ несправедливостей, которыя были сдѣланы ему, и съ вѣчнымъ пиленіемъ жены, и съ долгами, которые

онъ сталъ дѣлать, живя сверхъ средствъ, онъ одинъ зналъ, [96] какъ тяжело его положеніе.

Въ такомъ тяжеломъ положеніи почти что всегда, за исключеніями рѣдкими, въ ссорѣ съ женой, съ недовольствіемъ на дѣтей, съ отсутствіемъ интереса къ службѣ, въ зависти и досадѣ на всѣхъ, Иванъ Ильичъ этотъ тяжелый годъ рѣшилъ выдти изъ своего министерства и искать другаго мѣста. И сталъ хлопотать объ этомъ. Ему обѣщали. Но прошло полгода, и ничего опредѣленнаго не было. Лѣто этого года для облегченія средствъ онъ взялъ отпускъ и поѣхалъ съ женой прожить лѣто въ деревню у брата Прасковьи Ѳедоровны.

Въ деревнѣ безъ службы для Ивана Ильича была скука невыносимая, которую ничѣмъ нельзя было разогнать.

Въ Августѣ Иванъ Ильичъ [97] поѣхалъ еще разъ въ Петербурга хлопотать о мѣстѣ. Онъ ѣхалъ за однимъ: выпросить мѣсто въ пять тысячъ жалованья. Онъ уже не держался никакого министерства, направленія или рода дѣятельности. Ему нужно было только мѣсто, мѣсто съ пятью тысячами. [98]

*№ 6.

К главе IV.

Только два мѣсяца тому назадъ И. И. въ задушевномъ и серьезномъ разговорѣ съ однимъ изъ своихъ друзей, [99] вѣчно ноющемъ о несчастномъ положеніи не только Россіи, но и всего человѣчества, [100] И. И. сказалъ, что [101] онъ совсѣмъ не такъ смотритъ на жизнь, что, по его мнѣнію, въ этихъ условіяхъ жизни можно найти удовлетвореніе.

— Да что-же, вы счастливы? — спросилъ его собесѣдникъ.

— Я? Разумѣется — счастливъ.

— Я счастливъ потому, — сказалъ И. И., — что я не задаюсь неисполнимыми и внѣ меня находящимися цѣлями. Я ставилъ всегда себѣ цѣли очень близкія и исполнимыя и счастливъ, когда я достигаю ихъ. Вы знаете, у меня были неудачи по службѣ, это заставляло меня страдать. И самолюбіе — я не скрываюсь. Но потомъ я взялъ свое. Я получилъ теперешнее мѣсто въ томъ городѣ, гдѣ я хотѣлъ. Для семьи моей хорошо. Есть средства образованія. Средства денежные, хотя и не вполне удовлетворяютъ нашимъ потребностямъ. Я надѣюсь, что они улучшатся. Я стѣснился нѣсколько переѣздомъ. Я чувствую, что на моемъ мѣстѣ я приношу пользу. Безъ ложной скромности скажу, что

болѣе шансовъ на то, чтобы на моемъ мѣстѣ былъ человекъ менѣе добросовѣстный и полезный, чѣмъ я. Дальнѣйшій ходъ по службѣ для меня ясенъ, и не тороплюсь. Если меня и еще 5 лѣтъ оставятъ на моемъ мѣстѣ, я буду очень доволенъ. Ближайшая цѣль моя – это воспитаніе дѣтей и хорошее замужество дочери, т. е. честнаго человека нашего круга. И, разумѣется, интересы моей службы, которые всегда мнѣ близки. Признаюсь, мнѣ пріятно думать, что я дѣлаю дѣло свое хорошо, что я имѣю вѣсь и значеніе. Общіе же вопросы интересуютъ меня, но не волнуютъ, потому что я убѣжденъ, что разрѣшеніе ихъ зависитъ не отъ меня, а отъ условій жизни и времени. Осуждайте меня, если хотите, но я совершенно счастливъ и ничего не желаю и не боюсь – даже смерти не боюсь. Нечто по отношеніи семьи, которую хотѣлось бы лучше обезпечить. А для себя[102] я не желаю ее, но и не боюсь, какъ нельзя бояться неотвратимаго.

Такъ говорилъ И. И., и такъ ему казалось, что онъ и думалъ за 2 мѣсяца до своей смерти, но въ тѣ два мѣсяца, которые онъ проболѣлъ до своей смерти, мысли эти его очень много измѣнились.

*№ 7.

К главе IV.

Только три мѣсяца тому назадъ Иванъ Ильичъ въ разговорѣ съ этимъ самымъ И. П., высказывавшемъ какъ то свой страхъ передъ смертью и особенно передъ предсмертными страданіями, совершенно искренно, какъ ему казалось, сказалъ: «Вотъ я, такъ долженъ вамъ сказать, что я даже совершенно не понимаю этаго страха передъ смертью. Я живу, пользуюсь тѣми благами, которыя мнѣ даетъ жизнь. И въ общемъ мнѣ кажется, что благъ больше, чѣмъ золь».

Иванъ Ильичъ искренно говорилъ это, потому что послѣднее время своей жизни онъ достигъ того, чего долго желалъ, и былъ доволенъ жизнью.

«Я пользуюсь тѣми благами, которыя мнѣ даетъ жизнь, – продолжалъ онъ, – и не считаю нужнымъ думать о томъ, что не подлежитъ моему рѣшенію, тѣмъ болѣе, что когда придетъ рѣшеніе того вопроса смерти, который такъ смущаетъ васъ, я найду сейчасъ очень большое количество антицедентовъ (Иванъ Ильичъ любилъ это слово), которые укажутъ наилучшее рѣшеніе. Затѣмъ[103] долженъ вамъ сказать, что всякое рѣшеніе этихъ вопросовъ на религіозной почвѣ я считаю совершенно относительнымъ и произвольнымъ. Еще въ Правовѣдѣніи мы прочли Бюхнера и Молешота, и помню тогда были горячіе споры между товарищами, но для меня тогда же вопросъ былъ рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что мы не имѣемъ данныхъ для рѣшенія[104] его, и потому лучшее, что мы можемъ сдѣлать, это[105] воздержаться отъ поспѣшнаго и

бездоказательнаго рѣшенія.

Затѣмъ, съ одной стороны, условія моего положенія и служебнаго и семейнаго таковы, что я долженъ соблюдать извѣстный decorum[106] по отношенію внѣшнихъ сторонъ религіозныхъ установленій, и я соблюдалъ и соблюдаю и эти формы, хотя и не приписываю ему[107] рѣшающаго значенія. Затѣмъ, съ другой стороны, я не могу не признать того, что въ пользу религіозныхъ учрежденій говорить ихъ древность, всеобщность, если можно такъ выразиться, и потому я никакъ не возьму отрицать ихъ безъ строгаго изслѣдованія и полагаю, что они помѣшать никакъ не могутъ. И вотъ я прожилъ такъ четверть столѣтія et je m'en trouve très bien,[108] чего и вамъ желаю».

Такъ говорилъ Иванъ Ильичъ, и ему казалось, что онъ и думалъ совершенно такъ за три мѣсяца до своей смерти, но въ тѣ три мѣсяца, которые онъ проболѣлъ до своей смерти, мысли эти его очень измѣнились.

*№ 8.

К главе IV.

Теперь же[109] всякая неудача подкашивала его и ввергала въ апатію и[110] отчаяніе. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что эти отчаянія и апатія происходятъ отъ болѣзни; но онъ дѣлалъ совершенно обратное разсужденіе: онъ говорилъ, что эти неудачи и непріятности производятъ его болѣзни, и только больше сердился на людей и на случайности.[111] Ухудшало его положеніе то, что онъ читалъ медицинскія книги и совѣтовался съ докторами. Ухудшеніе шло такъ равномернo, что онъ могъ себя обманывать, сравнивая одинъ день съ другимъ – разницы было мало.[112] Но когда онъ не совѣтовался съ докторами, [113] тогда ему казалось, что идетъ къ худшему; и очень быстро.[114] Его тянуло къ больнымъ – у каждаго больнаго онъ разспрашивалъ про его болѣзнь, прикидывая къ своей, и радовался, когда состояніе того больнаго было хуже его. Но его тянуло къ докторамъ.[115] И не смотря на это, онъ постоянно совѣтовался съ докторами.

*№ 9.

К главе IV.

Въ судѣ Иванъ Ильичъ замѣчалъ или думалъ, что замѣчаетъ, что на него приглядываются, какъ на человѣка, имѣющаго скоро опростать мѣсто. И если старались уменьшить его работу, брать ее на себя, то, ему казалось, только для того, чтобы меньше и меньше онъ занималъ мѣста, а потомъ бы и вовсе стереть его. Все это ему смутно казалось, накладывая новыя тѣни на его все омрачающую жизнь; но онъ не сознавалъ этаго ясно и боролся по инерціи съ однимъ только желаніемъ не сдавать – быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ прежде. Ему казалось, что онъ прежде былъ чѣмъ-то. [116]

*№ 10.

К главе IV.

И странное, ужасное дѣло, такое, котораго никакъ не ожидалъ Иванъ Ильичъ, ширмы семейной жизни, любовь къ семьѣ, забота о женѣ, дѣтяхъ, то самое, что онъ часто выставлялъ какъ главный мотивъ его дѣятельности, какъ оправданіе многихъ и многихъ поступковъ, въ которые онъ самъ вѣрилъ, – эта приманка къ жизни исчезла прежде всѣхъ другихъ, исчезла сразу безвозвратно и нетолько никогда не могла успокоивать его, но эти отношенія его къ женѣ, дѣтямъ только раздражали его.

Сразу, какъ только она посмотрѣла сквозь эти ширмы, онъ понялъ, что все это хуже, чѣмъ вздоръ, что это былъ обманъ съ его стороны, что онъ никогда ничего не дѣлалъ для семьи, для дѣтей, что онъ все дѣлалъ для себя и пользовался только этимъ предлогомъ для того, чтобы, скрывая свой эгоизмъ, дѣлать то, что ему пріятно. И ложь эта теперь ему была противна. Онъ къ женѣ чувствовалъ нетолько равнодушіе, но гадливость при воспоминаніи о прежнихъ отношеніяхъ; и досаду, злобу даже за ея равнодушіе къ его смерти и притворство заботы о его положеніи, которое онъ видѣлъ, что она признаетъ безнадежнымъ.

Къ дочери было тоже чувство. Онъ видѣлъ, что она тяготится его положеніемъ. Сына было жалко немножко за то, что онъ придетъ, рано ли, поздно ли, къ тому же отчаянію и той же смерти.

Главное же, между нимъ и семьею было лжи, лжи ужасно много. Эти поцѣлуи ежедневные, эти денежныя отношенія, эти соболѣзнованія ежедневныя, одинакія, эти предложенія ходить за нимъ, ночевать въ его комнатѣ, дѣлаемые со страхомъ, какъ бы онъ не принялъ ихъ, – все это была ложь, и было гадко.

Такъ разлетались прахомъ всѣ его прежнія утѣшенія настоящей жизни. Такъ же разлетались и воспоминанія прошедшаго, которыя онъ вызывалъ

одно за другимъ въ свои длинныя, мучительныя, бессонныя – главное одинокія, совсѣмъ одинокія ночи.

Онъ перебиралъ все, что манило его въ жизни, и прикидывалъ воображеніемъ къ тому, что было теперь.

«Ну что, если бы теперь то, что было тогда, могъ ли бы и я жить?» говорилъ онъ себѣ. И онъ вызывалъ самыя сильныя радости. И что же она сдѣлала съ ними? Всѣ эти радости стали ужасомъ. Всѣ – кромѣ первыхъ воспоминаній дѣтства. Тамъ было что то такое, къ чему хотѣлось вернуться, съ чѣмъ можно было жить, если бы оно вернулось. Но это было какъ бы воспоминаніе о комъ то другомъ.

Того Вани съ любовью къ нянѣ, [117] съ нѣжностью къ [118] игрушкѣ, [119] – тотъ былъ, и того уже не стало. О немъ, о потерѣ того Вани, только хотѣлось плакать. Но какъ только начиналось то, чего результатомъ былъ теперешній онъ, Иванъ Ильичъ, такъ всѣ казавшіяся тогда радости превращались подъ ея вѣяніемъ. во что то ужасное, отвратительное.

Начиналось это съ Правовѣдѣнія. Ему вспоминалось, какъ онъ недавно еще съ товарищами подъ освѣщеніемъ воспоминанія, подобнаго лунному освѣщенію, перебиралъ все – и швейцара, и учителей, и воспитателей, и товарищей, и какъ все выходило весело, поэтично, даже тепло, радостно; и вдругъ теперь, подъ этимъ яркимъ, яркимъ, жестокимъ освѣщеніемъ, которое произвела она, – все это представлялось другимъ, ужаснымъ!

На первомъ мѣстѣ выступила дѣтская, но тѣмъ болѣе жестокая гордость, хвастовство, аристократизмъ, отдѣленіе себя отъ другихъ, жадность къ деньгамъ для сластей, обманы учителя, уроки – бессмысленность, тоска, отупѣнія..... и потомъ дортуары, нужникъ, тайныя сближенія, мерзость, цинизмъ. И надъ всѣмъ этимъ все одѣвающая и все загрязняющая растерянность чувственности. Потомъ новыя формы грязной чувственности, опьяненіе табакомъ, виномъ, и при этомъ какая-то фанаберія, хвастовство грязью и искусство держаться въ предѣлахъ приличной грязи. Потомъ служба, опять развратъ, опять фанаберія, и еще подслуживанье, скрытое, но все такое же какъ и всякое честолюбіе, желаніе быть лучше, выше другихъ и щелканіе. самолюбія и борьба и ненависть къ людямъ.

Потомъ женитьба – такъ нечаянно, и разочарованіе, и запахъ изо рта жены, и чувственность, и притворство, и простая, самая подлая гоньба за деньгами, и такъ годъ, и два, и десять и двадцать – и все та же ложь... И вотъ готово, умирай!

Такъ что жъ это? Зачѣмъ? Не можетъ быть. Не можетъ быть, чтобъ такъ бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она такъ гадка и бессмысленна была, такъ зачѣмъ же еще умирать?

Но сколько онъ ни повѣрялъ оба положенія: 1) о томъ, что вся жизнь

была глупость и – первое – гадость, и 2) о томъ, что онъ навѣрное умираетъ, – оба[120] настоятельно требовали того, чтобы И. И. призналъ ихъ. Въ жизни ничего не было, и что смерть была тутъ, гдѣ то внутри – это говорило все существо его, но онъ не хотѣлъ признать этого.

И съ сознаниемъ этого, да еще съ болью физической, да еще съ ужасомъ надо было ложиться въ постель, часто не спать[121] отъ боли, вставать, одѣваться, ѣхать въ судъ, говорить, писать, а если и не ѣхать, дома быть съ тѣми же 24 часами въ сутки, изъ которыхъ каждый былъ мучениемъ. И жить такъ на краю гибели одному, безъ одного человѣка, который бы понялъ и пожалѣлъ.

*№ 11.

К главе VIII.

Быль консилиумъ. М. М., Н. Н. ничего не понимали, но притворялись, что они понимаютъ и уважаютъ непонятное мнѣніе другъ друга и что они очень заняты. <Иванъ Ильичъ тоже притворялся, что онъ вѣритъ имъ и что они ему нужны. Ему ничего не нужно было.>

—

Комментарии Л. П. Гроссмана[122]

СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.

Начало писания Толстым «Смерти Ивана Ильича» до сих пор не было хронологически точно определено. По соображениям В. И. Срезневского повесть могла писаться всего семь месяцев – с 22 августа 1885 г. по 25 марта 1886 г. Заключение это строится на следующих данных: «в письме к Урусову от 22 августа Толстой, напоминая Урусову о плане

повести, про который он ему когда-то прежде рассказывал, говорит, что он хочет дать в повести «описание простой смерти простого человека, описывая из него», т. е. от лица самого Ивана Ильича. Изложение в первом лице в виде записок Ивана Ильича сохранилось в части текста одной из рукописей «Смерти Ивана Ильича». По отношению к другим рукописям эта рукопись представляет первоначальную редакцию; поэтому можно думать, что работа, о которой он говорит в письме к Урусову, и есть именно то, что видим в данной рукописи, и таким образом, что именно тогда, в августе 1885 г. началось писание». [123]

Между тем признаки композиции повести в форме дневника сохранилось не в одной, а в трех рукописях, и потому нет нужды датировать первую запись «Смерти Ивана Ильича» августом 1885 года. Форма первого замысла (дневник умирающего) сохранялась довольно устойчиво до поздней стадии работы, когда рассказ в первом лице уступил место объективному повествованию. В силу этого формой Ich-Erzählung'a нельзя аргументировать приурочение начала писания повести к августу 1885 года, так как этот композиционный принцип мог возникнуть и осуществляться значительно раньше и только сохраниться в процессе работы и к указанному моменту. Не более убедительно и указание «Справочника по Толстому» С. Балухатого и О. Писемской, ГИЗ, М.–Л., 1928, стр. 10, где начало писания «Смерти Ивана Ильича» отнесено к октябрю 1885 года (без указания источника или соображений данной датировки).

Между тем именно в октябре 1885 года Толстой сообщает Софье Андреевне, что работа над «Смертью Ивана Ильича», уже тянувшаяся несколько лет», теперь приближается к концу. Таким образом оба хронологических приурочения (август или октябрь 1885 г.) не находят подтверждения в материалах истории «Смерти Ивана Ильича».

Обращаясь к этим данным, мы находим в пра-истории повести факт, от которого следует хронологически исходить при определении всех дальнейших датировок «Смерти Ивана Ильича». Это – смерть Ивана Ильича Мечникова, отчасти послужившего Толстому прототипом для героя задуманной повести. Об этом имеется свидетельство самого автора. По поводу посещения Ясной поляны приехавшим из Парижа Ильей Ильичем Мечниковым, Толстой на следующий день рассказывал: «В разговоре мы вспомнили, что я знал его брата Ивана Ильича, – даже моя повесть «Смерть Ивана Ильича» имеет некоторое отношение к покойному, очень милому человеку, бывшему прокурору тульского суда». [124]

Приведем также сообщение проф. Н. Ф. Голубова, предшествующее приведенному заявлению Толстого. В публичной лекции о болезни и смерти у Толстого и Зола, напечатанной в «Практическом враче» 1909 года, Голубов говорит: «... Иван Ильич Головин, герой рассказа «Смерть Ивана Ильича», лицо не вполне выдуманное автором. Мне случайно стало известным, что Иван Ильич существовал в действительности, что это брат одного из знаменитейших в настоящее время русских ученых и что он служил в нашей магистратуре. Не знаю, насколько фактически верно описана Толстым семейная и духовная жизнь Ивана Ильича, но болезнь его и обстоятельства смерти были на самом деле таковы, какими они изображены нашим гениальным писателем. Я

считаю возможным указать вам даже источник, из которого я почерпнул эти сведения: мне сообщил их, лечивший Ивана Ильича, покойный профессор Захарьин». [125] Наконец весьма ценные указания по истории «Смерти Ивана Ильича» имеются в воспоминаниях Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной поляне», ч. III (1864–1868, М., 1926). Свояченица Толстого сообщает ряд сведений об «Иване Ильиче Мечникове, тульском прокуроре», о котором Лев Николаевич отзывался: «умен, очень умен». «Иван Ильич Мечников был человек лет 36 – 38. Прошлое его я не знаю. Кажется, он был правовед. Он умер раньше своей жены и послужил Льву Николаевичу прототипом главного героя в повести «Смерть Ивана Ильича». Жена рассказывала мне впоследствии его предсмертные мысли, разговоры о бесплодности проведенной им жизни, которые я и передала Льву Николаевичу. Я видела, как в пребывание Мечникова в Ясной Поляне Лев Николаевич прямо влюбился в него, почуяв своим художественным чутьем незаурядного человека. Повесть «Смерть Ивана Ильича» написана была позднее (Т. А. Кузминская, «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» (1864–1868), ч. III, стр. 153–154, М., 1926).

Иван Ильич Мечников умер 2 июля 1881 года. [126] С этой датой связывается замысел рассказа «Смерть судьи» («описание простой смерти простого человека»), первые наброски к которому могли быть сделаны тогда же, но повидимому оставлены в зачаточном виде. Некоторые личные переживания Толстого в первую половину 1880-х годов в связи с тяжелыми болезнями и смертью близких ему людей – И. С. Тургенева (1883) и Л. Д. Урусова (1885) [127] сосредоточивают его мысли на этой теме. «Смерть судьи», которая намечалась, обдумывалась и, вероятно, частично записывалась с 1881 года по 1884 г., весной этого года выдвигается как очередная литературная работа. Это момент непосредственного приступа Толстого к писанию повести, 27 апреля 1884 г. Толстой записывает в Дневник: «Хочу начать и кончить новое: либо смерть судьи, либо записки сумашедшего». Через три дня 30 апреля Толстой заносит в Дневник: «пробовал писать – нейдет. «Смерть Ив. Ильича» достал – хорошо и скорее могу». Это последнее («... достал») указывает, что какие-то записи прежнего времени уже имелись; предыдущая же запись («хочу начать и кончить... смерть судьи») показывает, что эти записи носили эмбриональный характер. Следующая запись о работе над повестью – 1 мая: «Стал поправлять «Ив. Ил» и хорошо работал. Вероятно мне нужен отдых от той работы, и это – художественная – такая». Дальнейшая работа идет с большими перерывами.

В письме от 4 декабря 1884 г. С. А. Толстая сообщает Т. А. Кузминской: «На днях Левочка прочел нам отрывок из написанного им рассказа, мрачно немножко, но очень хорошо: вот пишет-то, точно пережил что-то важное, когда прочел и такой маленький отрывок. Назвал он это нам: Смерть Ивана Ильича. Левочка был всё время очень мил, добр, ласков даже с чужими. Он отделяет статью и обещает после этой статьи продолжать этот прочтенный нам рассказ. Дай то бог».

Нужно думать, по состоянию рукописей и свидетельству дневников, что работа над «Смертью Ивана Ильича» затем снова прервалась на довольно длительный срок и возобновилась только к концу лета следующего года.

В письме от 20[128] августа 1885 г. к Л. Д. Урусову Толстой сообщает: «... Теперь я прихожу напротив в писательское состояние и хочется писать, а работы слишком много. Начал нынче кончать и продолжать [курсив наш] смерть Ивана Ильича. Я кажется рассказывал вам план: описание простой смерти простого человека, описывая из него. Жены рождение 22-го и все наши ей готовят подарки, а она просила кончить эту вещь [курсив наш] к ее новому изданию, и вот я хочу сделать ей «сюрприз» и от себя». Работа на этот раз увлекает Толстого, он видимо усиленно занят ею в сентябре 1885 г., так как 6 октября он сообщает жене: «Ужасно желаю написать «Ивана Ильича», и сейчас ездил и думал о нем; но не могу тебе выразить, до какой степени я весь поглощен этой работой, уже тянущейся несколько лет и теперь приближающейся к концу».

С начала 1886 г. работа над повестью проходит вполне отчетливо и имеет различные этапы, поддающиеся довольно точному хронологическому приурочению. В письме от 16 или 17 января 1886 г. к В. Г. Черткову Толстой сообщает: «Нынче немножко пописал Ивана Ильича и скоро стал путаться». Тем не менее в январе 1886 г. изготавливается список повести для типографии (АТБ, I, 14.I); эту редакцию еще нельзя считать окончательной, так как значительная переработка будет произведена по гранкам и даже сверстанным листам. Рукопись переписана начисто рукою писца (начало повести) и С. А. Толстой (весь остальной текст); имеются авторские вставки, дополнения и сокращения. На первой странице рукою С. А. Толстой сделана пометка для типографии: «Шрифт Сочинений Гр. Л. Н. Толстого. 12-я часть. Присылать гранки». Во второй половине января или в самом начале февраля 1886 г. рукопись сдается в типографию: гранки набора, отосланные на авторскую корректуру, носят типографскую помету: «15 февраля 1886 г.»

По гранкам набора Толстой производит новую работу чрезвычайно значительных и многочисленных изменений. Если начало повести (первая глава) не подвергается переработке вне обычной стилистической правки, весь остальной текст терпит такие существенные и обширные изменения, что всё после набора оказывается сплошь покрытым новыми записями и даже оборотная сторона гранок служит Толстому для продолжения его литературной работы. Обилие и малая разборчивость этой авторской «корректуры» вынуждает прибегнуть к помощи переписчика. Полосы набора проложены длинными склеенными листами, на которые С. А. Толстая переписала новые дополнительные отрывки повести. Последняя часть «Смерти Ивана Ильича» (гл. X, XI, XII) сохранилась в сплошной переписке на обычных листках писчей бумаги, сложенных в 4 (АТБ I.14, 2); это экземпляр, снова посланный в типографию и бывший вторично в наборе; на переписке имеется ряд новых авторских изменений и дополнений, но уже менее обширных и значительных, чем в гранках. Работа эта производится Толстым во вторую половину февраля 1886 г. (помета на гранках 15 февраля 1886 г.) и должна была закончиться не позже начала марта, так как новый выправленный набор в сверстанном виде уже был готов к середине марта. Сохранившиеся листы верстки, начиная с конца III-й главы носят печати 17, 18 и 21 марта. С середины марта до 25 марта прочитывается верстка и подвергается новой авторской правке. Эта работа, устанавливающая последнюю и окончательную редакцию,

заканчивается 25 марта 1886 года (дата, поставленная при первой публикации повести после текста).

Об этой последней усиленной стадии работы имеется упоминание в письме Толстого к Н. Н. Ге из Москвы в марте 1886 г.: «Я очень много работал. Всё то, что должно войти в 12-й том... Я нового ничего не делал: Крестник легенда и Смерть Ивана Ильича».

Все эти соображения по истории написания «Смерти Ивана Ильича» подтверждаются надписью на гранках, которую и следует признать решающей в вопросе датировки собственно-литературной работы Толстого над повестью.

На первой гранке сохранившегося набора надписано рукой Н. Н. Страхова:

«Шмуц-титул:

Смерть Ивана Ильича

Повесть

(1884–1886)»

Надпись эта является редакторской инструкцией типографии, т. е. исходит из авторских кругов и заслуживает полного доверия. Она действительно с полной точностью воспроизведена перед первой публикацией повести. Такая хронологическая помета имеет обыкновенно в виду весь период писания произведения, а не предварительной работы обдумывания.

Эта датировка сохранилась в прижизненных изданиях Толстого (см. напр. Соч. гр. Л. Н. Толстого, изд. 11-е, М. 1903, ч. XII, стр. 3). Она находится в полном согласии с записями Дневника 1884 г. и подтверждает диктуемое ими соображение, что начало непосредственной работы над повестью относится к апрелю – маю этого года, и что до этого момента имелись только первоначальные наброски.

Вкратце хронология «Смерти Ивана Ильича» выражается в следующих датах:

1881 июля 2. Смерть Ивана Ильича Мечникова. В связи с этим событием у Толстого возникает замысел повести «Смерть судьи» («описание простой смерти простого человека»), к которой вероятно и делаются первые наброски.

1884 апреля 27. Толстой записывает в Дневнике о своем желании „начать и кончить «Смерть судьи»“.

апреля 30 и мая 1. Записи в Дневнике о работе над «Смертью Ивана Ильича».

ноябрь–декабрь. Толстой читает семье отрывки из «Смерти Ивана Ильича».

1885 августа 20 Толстой сообщает в письме к Л. Д. Урусову: „Начал нынче кончать и продолжать «Смерть Ивана Ильича»“.

Конец августа, сентябрь, октябрь. Усиленная работа над повестью.

Октябрь. Толстой сообщает С. А. Толстой, что он «весь поглощен этой работой, уже тянущейся несколько лет и теперь приближающейся к концу».

1886 начало года (вероятно январь 1886 или самый конец 1885 г.) Перебеленная рукопись сдается в набор.

Февраля 15. Повесть набрана в гранках и отсылается на корректуру автору (штемпель на гранках).

Вторая половина февраля (до начала марта). Переработка повести по гранкам.

С середины марта до 21. Типография выпускает сверстанные листы повести.

С середины марта до 25–го. Толстой устанавливает по гранкам окончательную редакцию повести.

Марта 25. «Смерть Ивана Ильича» закончена.

С момента возникновения замысла и первых набросков прошло около пяти лет, с момента начала его литературной обработки около двух лет.

Рукописи повести дают возможность установить три отчетливых стадии работ Толстого над «Смертью Ивана Ильича».

1. Рассказ в первом лице товарища Ивана Ильича о посещении им вдовы скончавшегося сослуживца и о жизни покойного. Записки Ивана Ильича о своей болезни.

2. Рассказ от имени автора о жизни и смерти Ивана Ильича. Ряд эпизодов, исключенных из окончательной редакции и отсутствие ряда описаний и размышлений, имеющих в печатном тексте.

3. Окончательная редакция.

Рассмотрим последовательно эти наслоения повествования.

По первоначальному замыслу рассказ ведется всё время в первом лице, от имени двух участников повести – члена палаты, товарища скончавшегося, по фамилии Творогова (в позднейших редакциях Петра Ивановича) и затем от имени самого Ивана Ильича. Схема построения сводится к вступлению, в котором Творогов рассказывает о беседе членов палаты в кабинете Ивана Егоровича Шебек по поводу траурного объявления о кончине их товарища И. И. Головина и затем о своей

поездке к вдове покойного, от которой он получает предсмертный дневник Ивана Ильича. Дальнейшая повесть строится в виде записок умирающего о его жизни, болезни и угасании. Таким образом повесть строилась первоначально в виде сопоставления двух *Ich-Erzählung*'ов – самого Ивана Ильича и его друга. В окончательной редакции, как известно, Толстой отказался от обоих автобиографических рассказов и повел всё повествование в традиционном эпическом стиле от своего собственного лица.

Повесть в первой редакции начиналась так: «Я узнал о смерти Ивана Ильича в суде, в перерыве заседания по скучнейшему делу Мельвинских.... Петр Иванович подал мне свежий, пахучий еще номер» и т. д. «... Тотчас же после обеда, я, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал». Следует довольно близкий к окончательной редакции эпизод посещения рассказчиком вдовы, беседа с ней и проч.

Сюжетная необходимость первой главы – посещения вдовы Ивана Ильича другом покойного, получающим из ее рук его дневник, исчезает из последних редакций, и визит Петра Ивановича к Прасковье Федоровне носит здесь уже только характер вступления, как бы ввода читателя в семейный круг Ивана Ильича, некоторого бытового жанра «панихиды» и проч. Композиционная целесообразность этой главы в первой редакции утрачивается в дальнейших переработках («Прасковья Федоровна передала мне сущность ее дела ко мне», т. е. поручение покойного вручить товарищу его предсмертный дневник). В позднейших редакциях для сохранения сцены разворачивается разговор о пенсии, не представляющий для хода действия характера необходимости.

На первой странице рукописи на полях над текстом надписано, как бы в виде формулировки основной темы повести и главного принципа ее построения:

«Нельзя, нельзя и нельзя такъ жить какъ я жилъ и какъ мы всѣ живемъ. – Это открыла мнѣ смерть Ивана Ильича и оставленныя имъ записки. – Опишу то какъ я смотрѣлъ на жизнь и смерть до этаго событія и передамъ его записки какъ они дошли до меня съ прибавленіемъ только тѣхъ подробностей, которыя я узналъ отъ его домашнихъ».

Таким образом в первой стадии работы в центре замысла записки умирающего Ивана Ильича, для опубликования которых и дается предварительное вступление (посещение рассказчиком вдовы). В процессе работы Толстой приходит к заключению, что это вступление недостаточно, что необходимо познакомить читателя с прошлой жизнью героя; вести же этот рассказ от его имени неудобно, так как дневник Ивана Ильича пишется им в кратких промежутках между припадками смертельной болезни, не допускающих возможности вести обстоятельные и связанные автобиографические мемуары. Толстой прибегает к новому композиционному приему: товарищ Ивана Ильича, получивший его дневник, предваряет публикацию записок составленной им биографией своего покойного друга. Он собирает у близких материалы для этого жизнеописания. Переход к истории жизни героя имеется и в другой рукописи: «Чтобы записки эти были другим так же понятны, как они понятны мне, надо вкратце рассказать историю жизни Ивана Ильича». В дальнейших стадиях работы эта история жизни естественно сливается с

историей болезни и смерти героя. Отпадает форма его дневника, вступительная часть теряет характер записи его друга, вся повесть получает форму объективного рассказа – спокойного и последовательного повествования простой жизни и простой смерти одного обыкновенного человека, не понимавшего ужаса своего существования.

Следующая стадия работы, представляющая вторую редакцию повести, определяется отказом от обоих рассказов в первом лице и переходом к тому «авторскому повествованию», которое и сохранилось в окончательной редакции. Указания дневников и последовательность рукописей дают основание отнести работу над этой второй редакцией к осени 1885 г. Эта промежуточная стадия работы еще во многом отличается от заключительного ее состояния. Здесь имеется ряд эпизодов и сцен, выпавших из окончательного текста: воспоминание Ивана Петровича об Иване Ильиче в правоведении (ночная сцена в дортуаре, где Иван Ильич, прозванный «маркизой», наигрывает на зубах арию «*la donna e mobile*»); разговор с знакомым журналистом о положении России и заявление Ивана Ильича о своем совершенном счастье; разговор с Иваном Петровичем об отсутствии у Ивана Ильича страха смерти; кончина отца Ивана Ильича и получение наследства; ряд размышлений во время болезни и проч.

В противовес этому по набору повести в последней редакции получают значительное развитие главные моменты биографии героя, его жизнь и служба в провинции, его женитьба и супружеская жизнь, его предсмертные воспоминания о своем детстве и проч. Из окончательной редакции удаляется ряд конкретных деталей в целях придания вещи большей обобщенности. Устраняются, напр., указания на Москву, как на место действия повести («московские расстояния», «лучшее московское общество», «лечиться к Иверской», родственники «разлетались с нежностями в Москву» и проч.); вычеркиваются фамилии известных московских фирм (Альберт заменяется «дорогим кондитером»), обобщаются названия газет (вместо «Голоса» – просто «ведомости»). Эта третья редакция устанавливалась по набору повести с середины февраля до 25 марта 1886 года.

В окончательной редакции жизнь, болезнь и смерть Ивана Ильича располагаются в явственно различимом хронологическом порядке. Попытаемся восстановить намеченную автором датировку событий биографии Ивана Ильича, от которой, впрочем, Толстой в некоторых случаях произвольно уклонился, что создает при внимательном чтении некоторую несогласованность в ряде обстоятельств последней редакции.

По намеченной изложением событий биографической хронологии героя обстоятельства его жизни отмечаются следующими датами.

1837 г. Рождение Ивана Ильича Головина в Петербурге в семье тайного советника Ильи Ефимовича Головина.

С начала 1850-ых годов до 1859 года Иван Ильич проходит курс в училище Правоведения.

1859 г. Окончание училища Правоведения и отъезд в провинцию

чиновником особых поручений при губернаторе.

1859–1864 гг. Служба чиновником особых поручений.

1864 г. Перевод в другую губернию судебным следователем.

1866 г. Женитьба на Прасковье Федоровне Михель.

1867 г. Рождение дочери Лизы.

» Производство Ивана Ильича в товарищи прокурора.

1868–1869 гг. Рождение сына Василия. В 1860–е годы рождаются еще трое детей.

1871 г. Иван Ильич переводится в третью губернию на место прокурора.

Начало 1870–х годов. Смерть двух детей.

Вторая половина 1870–х годов. Смерть ребенка.

1878 г. Сын Василий отдан в гимназию.

Конец 1870–х годов. Иван Ильич ждет место председателя в университетском городе. Место это получает его сослуживец Гоппе. Ссора Ивана Ильича с Гоппе и с ближайшим начальством.

1880 г. При новых назначениях начальство обходит Ивана Ильича. Лето – поездка в деревню к шурина и в Петербург. Получение нового места с 5000–ным окладом в Москве. [129]

1880 г., 10 сентября. Иван Ильич вступает в новую должность. Сентябрь. Устройство квартиры. Падение Ивана Ильича с лестницы и ушиб в бок.

1880 г. В половине октября. Иван Ильич устроил квартиру в Москве. Приезд семьи.

1881 г. Ноябрь – декабрь. Болезнь Ивана Ильича. Посещение известных врачей.

В самом конце года. Приезд шурина.

1882 г. Начало января. Ухудшение болезни. Бессонница (опиум, морфин). Визит знаменитого врача.

2–я половина января. Обручение дочери Лизы с Федором Петровичем Петрищевым, судебным следователем. Резкое ухудшение болезни Ивана Ильича.

Февраль 1–2. Начало агонии.

Февраля 4. Смерть Ивана Ильича.

От этой хронологии, которая устанавливается точными показаниями повести, в процессе рассказа, особенно к концу, происходит ряд отступлений. Установленное временное течение событий нарушается. Так, напр., в начале 3-й главы сообщается: «так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение 17 лет со времени женитьбы» (относится к концу 70-х годов). Между тем Иван Ильич женился в 1866 году, так что в конце 70-х годов он был женат всего 12–13 лет. Согласно с установленной хронологией оказывается неправильным и заявление Прасковьи Федоровны о том, что она «двадцать лет» выносит ужасный характер мужа (если не считать это обобщающим разговорным выражением). Отсюда же и противоречия в возрасте детей Ивана Ильича: старшая дочь Лиза родилась в 1867 году, так что согласно установленной автором хронологии в конце 70-х гг. ей могло быть 11–12 лет, а не 16, как сообщает автор в конце II-й главы; в момент же смерти отца ей могло быть не более 15 лет; по последним же главам повести ей в это время уже около 20 лет, она выходит «разодетая с обнаженным молодым телом» и «Петрищев сделал формальное предложение». По этим указаниям рождение Лизы следует отнести к 1862 году, когда Иван Ильич еще находился на первом месте своей службы чиновником особых поручений при губернаторе (женился же он на втором месте службы, после введения уставов 1864 года, уже будучи судебным следователем). Такая же неувязка в возрасте сына, которому в 1882 году 13–14 лет; между тем по разнице возраста с сестрою он мог родиться, согласно основной хронологии, лишь в 1873–1874 году, и в момент смерти отца быть в возрасте 8–9 лет. Датировка последних событий оказалась несогласованной с первоначальной историей службы Ивана Ильича.

В «Смерти Ивана Ильича» Толстой с большой точностью воспроизводит ряд подлинных фактов, близко придерживаясь действительности. Возраст Ивана Ильича, как и его имя с полной точностью воспроизводят моменты из биографии Ив. Ил. Мечникова, который умер 45 лет: он родился 13 июня 1836 г., а скончался 2 июля 1881 г. (хронология жизни толстовского героя: 1837–1882). Смерть Мечникова от рака воспроизводится Толстым с такой клинической убедительностью, что в специальной медицинской печати «Смерть Ивана Ильича» признана самым сильным в мировой литературе описанием этой болезни. [130] Даже второстепенные подробности повествования строго учитывают реальную обстановку повести. Так исторически совершенно безошибочен эпизод поездки семьи умирающего на спектакль Сары Бернар. Гастроли знаменитой французской актрисы в Петербурге и Москве происходили зимою 1881–1882 гг. (декабрь–январь), т. е. как раз в период предсмертного ухудшения болезни Ивана Ильича.

В основу текста настоящего издания положена первая публикация «Смерти Ивана Ильича» по изданию С. А. Толстой – «Сочинения графа Л. Н. Толстого». Часть двенадцатая. Произведения последних годов. М., 1886, стр. 394–469 (с проверкой по рукописям). С этой первой публикации производились последующие без существенных изменений и, видимо, без пересмотров автора. Мелкие отклонения позднейших изданий от первопечатной редакции (абзацы, начертания отдельных слов, размещения тире при чужой речи) следует отнести на счет типографских корректур. Имеющиеся в первой публикации явные опечатки и ошибки (напр. приятель Ивана Ильича Петр Иванович дважды назван в конце

первой главы «Иваном Петровичем») исправлены. Все остальные особенности первой редакции и, в частности, толстовской транскрипции (напр. «Правоведение» с прописной буквы, ладон, Ильичём и проч.) сохранены, как и все абзацы первопечатного текста.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.

Рукописный материал, относящийся к «Смерти Ивана Ильича», хранится в Архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина и Архиве Толстого в Государственном Толстовском музее (Архив В. Г. Черткова).

1 (АЧ, XIV, 9). Автограф первой редакции «Смерти Ивана Ильича». На двенадцати листах писчей бумаги, сшитых в тетрадку в 4° и исписанных с обеих сторон. Широкие поля, местами заполненные поправками и вариантами. Всех страниц 24 (ненумерованных). Рассказ ведется от лица товарища Ивана Ильича, приводящего начало его предсмертного дневника «Вчера уходя изъ дома...». Рукопись обрывается на описании начала болезни Ивана Ильича: «нельзя было назвать нездоровьем то, что Иванъ Ильичъ говорилъ иногда, что у него странный вкусъ во рту и что-то неловко въ лѣвой сторонѣ живота». Данную редакцию даем целиком в вариантах под № 1.

2 (АЧ, XIV, 9,а). Автограф на отдельном листке почтовой бумаги с записью основной мысли произведения и программы изложения. Начало: «Нельзя и нельзя и нельзя такъ жить, какъ я жилъ». Конец: «до его смерти и прочтенія его записокъ смотрѣль на жизнь». Даем целиком в вариантах под № 2.

3. Копия с рукописи № 1, рукой неизвестного переписчика и продолжение повести рукою автора 25 лл. 4° с большими полями, л. 21 – почтового размера. Первые листы утрачены. Начало: «...(рас)порядилась и о пѣвчихъ»...; конец: «Онъ видѣль, что онъ умираетъ, и б[ыль] въ постоянномъ отчаянїи». С листа 18 начинается новый сплошной текст автора, представляющий продолжение повести с того момента, на котором обрывается автограф №1: начало: «но случилось, что неловкость эта». В копии есть исправления отдельных мест, неправильно разобранных переписчиком (рукою А. П. Иванова). Копия подверглась значительной авторской переработке (обширные вставки на полях, вычеркнутые места и т. д.). Из этой рукописи в ее первоначальном виде 11 листов (начало: «притворяясь, что это планъ жены»...; конец: «и все шло такъ не измѣняясь, и все»... перешли в наборную рукопись (см. № 8).

4. Неполная копия с предыдущей рукописи рукою А. П. Иванова. 11 лл. 4°, исписанных с обеих сторон с небольшими полями. Начало: («нельзя, нельзя и нельзя такъ жить»...); конец: «...рассказывала въ прошлую ночь, и онъ заснулъ». Имеются дополнения и вставки автора, и вычеркнутые места: опущено целиком всё, касающееся предсмертных записок Ивана Ильича.

Рассказ от имени товарища Ивана Ильича в первом лице меняется на рассказ от имени автора (вместо «я» всюду инициалы «И. П.»).

5. Копия с предыдущей рукописи рукою А. П. Иванова и продолжение повести рукою автора. Первоначально рукопись имела 14 лл. 4° с небольшими полями. Начало: «Въ большомъ зданіи судебныхъ учрежденій»...; конец: «мысли эти его очень много измѣнились». Новая запись повести начинается на л. 13 словами: «только два мѣсяца тому назадъ».

Первые 12 лл. целиком вошли в наборную рукопись № 8, так что в данной рукописи остались только два листа 13 и 14. Из этой рукописи даем варианты №№ 3 и 6.

6. Копия с лл. 13 и 14 предыдущей рукописи рукою С. А. Толстой. 2 лл. с небольшими полями в 4°. Начало: «...безъ онеровъ. Шлемъ этотъ даже»... Конец: «Мысли эти его очень измѣнились». Почти весь текст перечеркнут с нанесением новых записей на поля.

7. Копия с рукописи № 3 (начиная с л. 5, об.) и продолжение повести рукою Толстого. Начало: «прошедшая исторія жизни Ивана Ильича»; конец: «что же то? спросиль онъ себя». Рукопись первоначально состояла из 63 лл. в 4°, исписанных с обеих сторон, кроме последнего листа, совершенно неиспользованного. Копия выполнена рукою С. А. Толстой, Н. Н. Ге, неизвестного переписчика и В. Г. Черткова. Из этой рукописи 37 листов перешло в наборный экземпляр, так что в данной рукописи осталось 26 лл. Лл. 24–25 представляют собой оборванный полулист писчей бумаги, сложенный пополам. Вся рукопись подверглась весьма значительной авторской переработке: судя по чернилам, правки производились в разное время и привели к исключению больших кусков и замене их новым текстом между строк и на полях. Новый текст Толстого начинается на листе 7 об. словами: «онъ зналъ, что умираеть».

8. Полная копия всей повести, бывшая в наборе, 81 лл. в 4° с полями, исписанных с обеих сторон рукою А. П. Иванова, С. А. Толстой, неизвестного переписчика, Н. Н. Ге и В. Г. Черткова. Последний лист не использован, предпоследний исписан только с лицевой стороны. Листы нумерованы цифрами 1–38, далее ошибочно цифрами 35 и т. д. Начало: «Въ большомъ зданіи судебныхъ учрежденій»...; конец: «И онъ умеръ». На первой странице помета С. А. Толстой: «шрифт сочинений Гр. Л. Н. Толстого. 12-я часть. Присылать гранки». Местами значительная переработка рукописи.

Из этой рукописи даем варианты №№ 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11.

9. Копия части рукописи № 7. 3 лл. рукою С. А. Толстой, исписанные с обеих сторон, с значительными исправлениями и дополнениями автора. Начало: «указывало ему его чувство приличія»...; конец: «ничего не выходило, кроме тяжести». Листы нумерованы цифрами 16–18 и представляют первоначальную переписку соответствующих листов из рукописи № 7. Они входили первоначально в рукопись № 8, но вследствие того, что листы эти подверглись значительной авторской

правке, их пришлось переписать вторично и изъять из рукописи № 8, заменив новой перепиской.

10. Полулист писчей бумаги, сложенный вдвое и служивший обложкой рукописи. На 1-й странице рисунки карандашом: стрелы в разных направлениях, заштрихованные трехугольники. Здесь же наискосок конспективная запись:

Въ типографіи

холстины

Онъ повернулся

лицомъ къ стѣнѣ.

Утѣшаютъ. Операція

Махаешь рукой.

Періоды отчаянія (смерть)

и надежды. (Кишка).

Меньше и меньше

послѣдніе

Оглянулся – паденіе

и добра жизни и самой жизни

Стало это кошмаромъ.

(Не знаетъ, что убываетъ)

11. Корректуры в гранках: 38 гранок. Штampы типографии А. И. Мамонтова – 15 и 28 февраля и 8 марта 1886 г. Корректуры подверглись усиленной авторской правке: поля многих гранок сплошь заняты новым текстом, в дополнение или в замену прежнего. Оказалось необходимым для ясности переписать многие исправленные Толстым гранки, что и было сделано С. А. Толстой. Переписанные авторские листы подложены или подклеены к гранкам; всех таких листов – 6; на них также имеются исправления автора. На гранки нанесены корректурные исправления рукою С. А. Толстой.

12. Неполная корректура в сверстанном виде. От слов: «чувством виртуоза, отчетливо отделав его» до конца повести. Стр. 425–463. Листы 28–30 тома XII «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», издание 5-е. Штampы типографии А. И. Мамонтова: 17–18 марта 1886 г. Первые 2 лл.

28–29, на которых исправлений автора сравнительно немного, имеют помету С. А. Толстой: «Исправив, печатать», лист же 30 имел две обширные собственноручные вставки автора на трех листах, из которых первые два исписаны с обеих сторон, имея много исправлений и на полях. В силу этого С. А. Толстая сделала на листе 30 помету: «Перебрать всё» и, начиная со стр. 460 (от слов: «повернувшись лицом к стене») переписала для ясности весь конец повести. Переписка заняла 14 лл. 4°, из которых последний был исписан с обеих сторон. Переписка вновь была просмотрена автором, сделавшим в ней немало исправлений. Четвертый лист (начало: «другой ему представлялись картины»; конец: «больше было добра в жизни») был так значительно исправлен, что пришлось его переписать целиком.

13. Новый набор л. 30 (стр. 457–468) двенадцатого тома «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», изд. 5-е. От слов: «очевидно негодую на них» до конца повести. Штамп типографии А. И. Мамонтова: 21 марта 1886 г. Исправления автора значительны, вследствие чего издательницей сделана помета: «Исправив, прислать».

Рукописи и корректуры, описанные нами под №№ 3–13, хранятся в АТБ (п. 1,14).

14. Последняя корректура лл. 26–31, стр. стр. 393–470 тома XII «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» с начала до конца повести, с 23 буквенными и стилистическими правками рукой Толстого и С. А. Толстой. Штампы на листах типографии А. И. Мамонтова: 14, 17, 19 и 24 марта 1886 г. Все листы подписаны к печати С. А. Толстой. Ею же поставлена авторская дата: «25 марта 1886 г.» и надписано: «(это число печатать)».

Корректурa эта хранится в Государственном литературном музее (Москва).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.

В состав настоящего тома входят художественные произведения, над которыми Толстой работал в период времени с 1884 по 1889 год. Одно из них, именно «Холстомер», законченное в 1885 году, было, впрочем, начато еще в 1863 году. Пять печатающихся здесь произведений Толстого представляют собой неотделанные и незаконченные им наброски, из которых четыре (драматическая обработка легенды об Аггее, «Жил в селе человек – звать его Николай»; «Миташа» и статья «Благо только для всех») были опубликованы после смерти Толстого, отрывок же «В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь» публикуется впервые в настоящем издании. Помимо неопубликованных доселе вариантов отдельных эпизодов входящих в данный том произведений, здесь печатается целиком самая ранняя черновая редакция «Смерти Ивана Ильича». Сообщаются впервые также исправления, сделанные Толстым в печатном экземпляре «Власти тьмы».

Из статей, вошедших в данный том, впервые появляются в печати: «Благо только для всех», «О Гоголе», «К молодым людям» и ряд вариантов трактата «О жизни». Ряд значительных вариантов дается к статье «Николай Палкин».

Работу по составлению алфавитного указателя произвел В. С. Мишин.

П. В. Булычев

Л. П. Гроссман

Н. К. Гудзий

А. И. Никифоров

Б. М. Эйхенбаум

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех тех случаях, где они употребляются Толстым, и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга (брычка, цаловать).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это ударение не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «кый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ] и т. п. лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или: [2 неразобр.] и т. д., где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, и одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с

оговоркой в сноске: «Абзац редактора».

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Пометы: в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Толстого, – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Иллюстрации

Фототипия портрета Толстого раб. И. Е. Репина – между XII и 1-й страницами.

Автотипия со страницы первого черновика рукописи «Смерти Ивана Ильича» – между 519–520 страницами.

Примечания

1

[Гордость семьи.]

2

[Предвидь конец,]

3

[Добрый малый,]

4

[Молодость должна перебеситься.]

5

[Умышленно, нарочно,]

6

Зачеркнуто: Вчера <уходя изъ дома я прочель въ газетахъ> мы получили извѣстіе въ судѣ.

7

Зач.: Что вы?

8

Зач.: Люблинь

9

Зач.: Умеръ таки, подумаль я. А жалко.

10

Зач.: былъ въ Петербургъ, а съ прїѣзда въ Москву я давно ужъ не былъ у него. Я вспомнилъ его страдающее лицо и вопросительные глаза въ послѣдніе два посѣщенія его.

11

Зач.: <почти годъ> всю зиму. Вспоминалъ я его жену, дѣтей. Какъ то они будутъ? Кажется у него кромѣ службы ничего не было. Онъ тотчасъ же сталъ думать: Куда прежде куда послѣ ѣхать и когда побывать у вдовы.

12

Зачеркнуто: Я этой глупости не сдѣлаю. И занялся своими дѣлами. –

13

Зач.: нѣкоторымъ

14

Зач.: по службѣ

15

Зач.: Еще сколько шлемовъ объявимъ.

16

Зач.: товарищу

17

Зач.: сталь

18

Зач.: и спасаетъ положеніе.

19

Зач.: Старичекъ потомъ

20

Зач.: и въ гробу

21

Зач.: я его зналъ, оправлялъ покровъ и

22

Зач.: (помню, онъ очень любилъ этого Герасима здорового, румянаго добродушнаго и во время болѣзни Герасимъ былъ всегда у него въ кабинетѣ.) Мертвецъ лежалъ не Иванъ Ильичъ, а мертвецъ.

23

Зач.: <на того, кто лежалъ въ гробу. И наконецъ пересталъ креститься и только смотрѣлъ на то, что лежало.> <Тутъ были и волоса его> Въ гробу лежалъ мертвецъ съ рѣдкими волосами такими же какъ были у Ивана И[льича] въ его мундирѣ с шитымъ лаврами воротникомъ и съ его руками

24

Зач.: всегда потныя

25

Зачеркнуто: Но это былъ не Иванъ Ильичъ, а мертвецъ. Какъ всегда, только что я сталъ задумываться, я оберегая себя отъ мыслей о такихъ пустякахъ какъ смерть.

26

Зач.: бакенбардисту

27

Зач.: карты

28

Зач.: бакенбардиста

29

Зач.: выражая потерю всякой надежды на винтъ нынче вечеромъ.

30

Зач.: вопросомъ

31

Зач.: въ оградѣ

32

Зач.: Но за три дня

33

Зачеркнуто: и смотрѣть и слышать

34

Зач.: это

35

Зач.: именно

36

Зач.: и передать ее послѣ себя тѣмъ кто можетъ понять ее.

37

Зачеркнуто.: помните

38

Зач.: сказал: «повѣрьте», когда

39

Зач.: денежное

40

Зач.: руку

41

Зач.: барина

42

Зач.: Записки эти ужасны. Я прочиталъ ихъ, не спалъ всю ночь я поѣхалъ на утро къ Прасковѣ Ѳедоровнѣ и сталъ спрашивать про ея мужа. Она мнѣ много рассказала, и отдала ихъ.

43

Цыфра 1 переделана из 2.

44

Зач.: <какая то крошечная частица простой> Отъ чего же

45

Зачеркнуто: отчего

46

Зач.: стало быть

47

Зач.: самому съ собой гов[орить]

48

Зачеркнуто: пѣть до

49

Зач.: легкимь

50

Зач.: порядочнымь

51

Зач.: заботы

52

Зач.: больше любить

53

Зачеркнуто: неприятн[о]

54

Зач.: прошлого

55

Зач.: сентября

56

Зач.: <брата> зятя. На полях против этих слов:.....? beau frère

57

Зач.: одинъ на одинъ: Боже мой, какъ тяжело

58

[проказа, в переносном смысле: скупость, скряжничество.]

59

Зачеркнуто: чтобы испытать Jean

60

Зач.: Jean

61

Зач.: Jean

62

Зач.: на каменной терасѣ

63

Зач.: гордый

64

Зач.: добиться

65

Зач.: свою дѣятельность

66

Зач.: былъ почти безъ надежды

67

[Он поехал навестить моего бедного свекра. Он до старости не доживет. И Jean был всегда его любимец.]

68

Зачеркнуто: лѣстницу

69

Зач.: и поскол[ьзнулся]

70

Зач.: радости

71

Зачеркнуто: вполнѣ

72

Зач.: боли[ть]

73

Зач.: Если и отправляло

74

Зач.: подстро[ивать]

75

Зач.: на все были формы, приемы, законы.

76

Зачеркнуто: Совѣстно

77

Зач.: радъ

78

Зач.: играть

79

Зач.: до декабрия мѣсяца

80

Зач.: и фав

81

Зач.: провин[ціальные]

82

Зачеркнуто: и не тайно.

83

Зач.: Съ этого дня завязалась дружба И. И. с И. П.

84

Зач.: новичекъ

85

Зач.: Онъ самъ румяный, улыбающійся съ блестящими молодыми глазами.
И вотъ тотъ же И. И. – Нѣтъ, это не тотъ же, – это совсѣмъ другой.
Другой и тотъ же лежить

86

Зач.: измученныя

87

Зачеркнуто: баба

88

Зач.: за ужиномъ

89

Зач.: ворчливости и скуки. Никакой возможности

90

Зач.: Онъ бился въ томъ хомутѣ женитьбы, въ который онъ попалъ.

91

Зач.: случился другой ухабъ. Будучи еще товарищемъ прокурора, и лучшимъ, и правя всегда должность прокурора, Иванъ Ильичъ ждалъ, что не обойдутъ при первомъ назначеніи въ прокуроры. Оказалось, что Гоппе, товарищъ прокурора, забѣжалъ какъ то впередъ въ Петербургъ, и его, младшаго, назначили, а Иванъ Ильичъ остался.

Нарушилась легкость, пріятность и приличіе служебной жизни. И Иванъ Ильичъ потерялся. Онъ даже пришелъ въ отчаяніе такое, что жена жалѣла и утѣшала его. Иванъ Ильичъ раздражился, сталъ дѣлать упреки и поссорился съ ближайшимъ начальствомъ. Къ нему стали холодны. Иванъ Ильичъ еще больше раздражился и сталъ хлопотать о переводѣ въ другое вѣдомство.

92

Зач.: загнанный въ послѣднее свое убѣжище,

93

Зач.: Надо было переѣзжать.

94

Зач.: Жена замучала его упреками.

95

Зачеркнуто: А онъ сидѣлъ безнадежно на одномъ мѣстѣ – товарища
предсѣдателя.

96

Зач.: что положеніе его невозможно, и былъ близокъ къ отчаянію.

97

Зачеркнуто: больше для того, чтобы избавиться отъ этой тоски, чѣмъ
для своего перевода, въ успѣхъ котораго онъ уже отчаявался,

98

Зач.: Безъ мѣста съ пятью тысячами – гибель.

99

Зач.: журналистомъ и либераломъ,

100

Зач.: и говорившимъ, что въ наше время человѣкъ не можетъ быть
счастливымъ,

101

Зач.: онъ несправедливъ и что онъ напимѣрь чувствуетъ себя совершенно спокойнымъ и счастливымъ. —

102

Зачеркнуто: хоть сейчасъ

103

Зач.: религиозные вопросы не интересовали меня иначе, какъ внѣшнимъ образомъ.

104

Зач.: этихъ вопросовъ

105

Зач.: не рѣшать ихъ.

106

[приличие]

107

Зачеркнуто: никакого

108

[и я чувствую себя очень хорошо,]

109

Зач.: не было надежды.

110

Зач.: мысль о болѣзни. Но чѣмъ тяжелѣе ему было оставаться одному съ своими мыслями, тѣмъ больше онъ искалъ людей, легкихъ отношеній съ ними – разсѣянiя.

111

Зач.: А боль въ боку все томила, все какъ будто прибавлялась, становилась постояннѣе; и сила, и аппетитъ все слабѣли.

112

Зач.: Но боялся обманывать,

113

Зач.: ему казалось, что все шло так же, къ лучшему, но когда онъ совѣтовался,

114

Зач.: Но не смотря на это, его тянуло къ докторамъ, и онъ часто совѣтовался. И тогда онъ подолгу смотрѣлся въ зеркало, запершись въ комнатѣ, и подолгу смотрѣлъ на обнаженное тѣло свое, соображая, похудѣлъ ли или нѣтъ. А не совѣтоваться онъ не могъ.

115

Зач.: И не смотря на то, что всякое посѣщеніе

116

Зачеркнуто: Такъ шло мѣсяць и два. Передъ новымъ годомъ приѣхалъ въ ихъ городъ его шурина и остановился у нихъ. Иванъ Ильичъ былъ въ судѣ. Прасковья Ѳедоровна ѣздила за покупками. Войдя къ себѣ въ кабинетъ, онъ засталъ тамъ шурина, здороваго сангвиника. самого раскладывающаго чемоданъ. Онъ поднялъ голову на шаги Ивана Ильича, поглядѣлъ на него секунду молча.

117

Зачеркнуто: къ лошадкъ,

118

Зач.: кустамъ, къ курицѣ,

119

Зач.: съ восторгомъ къ оперѣ,

120

Зачеркнуто: были несомнѣнная правда.

121

Зач.: и одну, и двѣ, и три ночи, и десять, и двадцать, и сорокъ ночей. И онъ лежалъ такъ ночи. Бродиль днемъ и лежалъ ночью.

122

В комментариях приняты следующие условные сокращения:

АТБ – Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина

(Москва);

АЧ – Архив В. Г. Черткова (Москва);

Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV – П. И. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография», Государственное издательство: I – М. 1923; II – М. 1923; III – М. 1922; IV – М. 1923;

БИР. 1913 – «Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого» тт. I – XX. Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова, изд. Сытина. М. 1913;

БЛ – Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина (Москва);

ГЛМ – Государственный литературный музей (Москва);

ГТМ – Государственный толстовский музей (Москва);

ИРЛИ – Институт русской литературы (Ленинград);

ЛПБ – Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);

ПЖ – «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862–1910» Изд. 2 М. 1915;

ПС – «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» изд. Общества толстовского музея. СПб 1914;

ПТ – «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». изд. Общества толстовского музея. СПб 1911;

ПТС 1; ПТС 2 «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко» изд. «Книга» 1 – М. 1910, 2 – М. 1911;

ПТСО – «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под ред. А. Е. Грузинского, изд. «ОКТО». М. 1912;

ТЕ, 1911, 1912, 1913 – «Толстовский ежегодник» 1911 г., 1912 г., 1913 г.;

ТТ 1; ТТ 2; ТТ 3; ТТ 4 – «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сборники: 1 – М. 1924, 2 – М. 1926, 3 – М. 1927, 4 – М. 1928.

124

С. П. Спиро, «Беседы с Л. Н. Толстым (1909 и 1910)», М. 1911, стр. 35. – Источник указан мне Н. Н. Гусевым, которому я обязан рядом ценных сообщений по истории творчества Л. Н. Толстого.

125

Проф. Н. Ф. Голубов, «Болезнь и смерть Ивана Ильича у Толстого и доктора Паскаля у Эмиля Зола». Отд. отт. из газеты «Практический врач», Спб. 1909.

126

См. «Московский Некрополь», т. I. Спб.

127

Толстой писал А. А. Толстой (19?) января 1885 г.: «вчера узнал от Захарьина, доктора, что Урусов Леонид неизлечимо болен... Мы все так давно – с рождения приговорены к смерти богом, а когда нам это скажет доктор, это точно что-то новое».

128

Датировка предположительная и определяется пометкой адресата на письме: «Пол. 22 августа 1885 г.».

В черновиках Москва названа несколько раз. В окончательной редакции название отсутствует, но Иван Ильич перевозит на последнее место своего устройства все «из провинции».

«Реальная правда в изображении настолько велика, что не только врач, но и любой студент–медик 3–го курса поставит почти точный диагноз болезни... Прочитав рассказ Толстого, мы почти с уверенностью можем сказать, что Иван Ильич умер от рака в брюшной полости, где–то в области слепой кишки или правой почки. Причина болезни (ушиб), картина ее, течение, даже потребность лежать с высоко поднятой ногой – всё говорит за это... «Смерть Ивана Ильича» – гениально–художественное творение, правдиво изображающее болезнь и страдания и приводящее в восхищение врача–читателя». (Проф. Н. Ф. Голубов, «Болезнь и смерть Ивана Ильича у Толстого и доктора Паскаля у Эмиля Зола», стр. 15). Недавно в медицинской печати была сделана подробная характеристика истории болезни Ивана Ильича: «не может быть и двух мнений по поводу характера заболевания этого страдальца. Иван Ильич умер от рака – до того ясна картина болезни...». Все признаки прогрессирующей кахексии и связь между травмой и злокачественным новообразованием переданы Толстым с исключительной убедительностью: «каждый врач любой специальности должен внимательнейшим образом прочитать этот рассказ, сильнее которого нет в мировой литературе на эту тему, и перед ним раскроются те бездны ужаса и сомнений, которые переживают раковые больные». (А. Т. Лидский, «Смерть, болезнь и врач в художественных произведениях Л. Н. Толстого» – «Русская клиника», 1929, XI, 6, 8–9).